

Михаил Шишкин
Взятие Измаила



ИЯ «РУССКИЙ БУКЕР» ПРЕМИА «РУССКИЙ БУКЕР»

АСТ

Михаил Павлович Шишкин

Взятие Измаила

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=147300
Михаил Шишкин «Взятие Измаила»: АСТ, Астрель; Москва; 2011
ISBN 978-5-17-069376-4

Аннотация

«Взятие Измаила» – роман о равноценности для России всех эпох и событий: дореволюционный уголовный суд – и рядом сцены жизни из сталинских, хрущевских и брежневских времен; герои реальные и вымышленные, современная лексика и старославянские стилизации...

Роман удостоен премии «Русский Букер».

Содержание

Лекция 7-я	4
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Михаил Шишкин

Взятие Измаила

Франческе

Лекция 7-я

Narratio est rei factae, aut ut factae, utilis ad persuadendum expositio.
Quintilianus¹

В деле Крамер знаменитый Урусов добился оправдания подзащитной, несмотря на ее признание, на очевидную наличность *corpus delicti*² и даже на вытянутый из конверта и севший облачком на стол вещественных доказательств бездыханный чулок. После оглашения оправдательного приговора под восторженные рукоплескания зала Крамер подошла к своему удачливому защитнику, но вместо ожидаемой благодарности спаситель был удостоен звонкой пощечины. Эта оплеуха, прославившая до того никому не известную учительницу музыки, придала тогда пыл не одному перу, но развернувшейся в нашей печати дискуссии о нравственной дозволенности при защите вряд ли было суждено справиться со столь щекотливой субстанцией. И немудрено. Ибо защищая человечество, в любую минуту можно оказаться союзником беззакония, пособником безнравственности, укрывателем преступлений, врагом правосудия. Вот ведь, даже сама созналась, что убила, а выходит, что и не убивала вовсе. Вся вина Урусова заключалась в том, что он рассказал историю Крамер своими словами. То, что якобы имело место быть, – где оно? Весь так называемый тварный мир текуч и бесплотен. Сегодня вы здесь, стряхиваете перхоть с плеч, а завтра – где вы? Другое дело слова. Что там было с этой дамочкой на самом деле – никто никогда не узнает, да и какая разница, но вот Урусов рассказывает, как подзащитная снимала платье через голову и волосы зацепились за крючок, – и оправдание становится неизбежным. Так в чем же тут его вина? *Nullum crimen, nulla poena sine lege*!³ Нельзя облагать наказанием деяние, в момент совершения по закону не наказуемое. Деяние это есть сотворение мира. Представьте себе, мои юные друзья, что ничего нет. Абсолютно ничего. Ни вас. Ни меня. Ни этой не проветренной после предыдущей лекции аудитории. Ни вот этого огрызка мела у меня в пальцах, который только что скреб по доске, осыпаясь мучнистой стружкой. Ни времени, идущего посолонь и схватившего каждого за руку, мол, попался, теперь не убежишь, будешь у меня на ремешке. Ни метели за окном, слышите, как завывает? Абсолютная чернота. Пустота и тьма – необходимое условие для сотворения мира. Да еще ледяной сквозняк, да еще трясет, как в вагоне белебейской узкоколейки. И такая тоска! И вот все вроде бы для миротворения есть, потому что ничего нет, но чего-то не хватает. Какой-то искры, что ли. И вот эту тоскливую башкирскую черноту рвет вдруг искра. Сверкнув, гаснет. Потом снова искра, и снова, будто кто-то чиркает спичками, какое-то первосущество, прабог-искровержец, этакий Перун. Чиркает и ругается – отсырели. И тут у него из уха, или из бедра, как это принято в ранних, наивных, но, согласитесь, весьма трогательных мифологиях, во всяком случае не сравнить с бескрылым триединством, или, допустим, из пупка – все равно в такой темноте не

¹ «Рассказ обстоятельств дела есть правдивое изложение дела или того, что выдается за правду, с целью убедить слушателя». Квинтилиан (*лат.*).

² Вещественные доказательства (*лат.*).

³ Нет преступления, если закон не предусматривает наказания! (*лат.*)

разберешь – появляется его визави, всеночный сосед, бог-супротивник, живолоб и неслух, одним словом, Велес. Откашливается, ворочается, кряхтит, вздыхает и рождает время:

– Сейчас, наверно, уже около семи. Как бы не проехать!

А Перун трет глаза, зевает и разделяет словом свет и тьму:

– Еще немного – и будет светать.

И после этого сотворение заснеженной степи за студеным окном не остановить. Небо светлеет. Перун, закутавшись в одеяло, глядит на свой еще сумеречный, невнятный мир, и одного его взгляда достаточно. Посмотрит вниз – там уже скользят рельсы, мельтешат шпалы, посмотрит вверх – откуда ни возмись ныряют рассветные телеграфные провода, как будто детский карандаш рисует волны. Подумает только: «Деревня» – и сразу что-то чернеется среди снегов, поднимаются к морозному небу столбами дымы. Прошепчет: «Чайку бы» – а тут уже стучат в дверь:

– Вот я вам горяченького принес!

Подстаканник на вырост – стакан болтается, чай все норовит обжечь губу.

– Останавливаемся, – вглядывается в окно Перун, пальцы с куском сахара замирают над кипятком, вагон на стрелке швыряет, чай чмок рафинад, и по белому тельцу бежит чайное пятно.

– «Чебыри», – читает Велес имя полустанка. – Вот ведь, и здесь живут люди.

Полустанок замедляет свой бег и, дернувшись, замирает. В клубах пара проходит под окном получеловек, за ним пробегают к концу поезда еще несколько полулюдей, обрезанных окном.

– Знаем мы эту жизнь, – отхлебывает Перун, дует, сгоняет пар, точно пенку. – Да ведь и за полярным кругом живут с женой-парашей – и то ничего. Кому где, Григорий Васильевич, срок дан, тот там и живет.

Полустанок снова дергается и сползает по стеклу назад.

– Вот вам и все Чебыри, – вздыхает Велес. – И поди попробуй кому-нибудь докажи, что они есть! Ничего, еще немного потерпим, годика два, три, и покончим со всем этим. Я выйду на полный пансион с эмеритурой, вы – на половинный, и заживем себе мирненько.

И опять за свое – бросят какое-нибудь словцо, вроде:

– Речка! – и тут же вагоны, боясь ослушаться, кованными подметками по гулкому мосту, а внизу по пороше цепочка чьих-то следов сцепила берега.

Или:

– Подтяжки!

А те и рады стараться, тут как тут, свесились с верхней полки, возомнив себя маятником.

– Ну и дыра!

И стелется до коротко стриженного горизонта новорожденный белый свет. А там и Белебей. Вот и приехали.

Проводник, сунув чайный рубль в карман, крестит со ступеньки:

– Как говорится, не судите, да не судимы будете! Ни пуха вам ни пера!

– Пошел к черту! – Вагон тут же трогается. Проводник на ходу захлопывает дверь.

Платформа похрустывает под каблуками. За ночь подвалило снежку.

Из утреннего морозца, прикусив облачко пара, появляется Сварог, приехавший тем же поездом.

– Ну и ночка, господа, все кости болят. И сосед попался – вы такого храпа еще не слышали. В этой глуши, небось, и газеты не купишь.

Выездная сессия в купеческом клубе, напротив вокзала.

В зале натоплено, за двойными рамами колокольня со снежными погонами на крестах, от судебного пристава пахнуло кельнской водой, графин на пурпурной скатерти дробит гранями салатные кафли печки-голландки.

Перун проверяет перед началом, все ли на месте – очки в футляре, лампада горит у иконы, портрет творца судебных уставов не крив, разворачивает завернутый в газету колокольчик с костяной ручкой.

Под бубнеж судебного пристава Велес точит бритвой карандаш, скоблит грифель, сдувает угольную пыльцу.

Сварог великодушно отмахивается от списка присяжных, поднесенного для отводов.

Перун опускает билеты в коробку, перемешивает и вынимает по одному, громко зачитывает, поднимая брови и качая головой, мол, с какими же только фамилиями не мучаются люди.

Приводят к присяге – недружный хор заунывно тянет «обещаюсь и клянусь».

Батюшка кладет крест в Евангелие, заворачивает в епитрахиль и, сунув под мышку, уходит.

А вот и Мокошь. Вынула налитую грудь и кормит. Смотрит куда-то за окно, покачивается, напевает что-то. Поправляет своему свертку пеленочки. Видит, как косится приставленный новобранец с красными петличками внутренних войск – усмехается.

Добрались, наконец, до обвинительного.

– Третьего мунихиона сего года свидетельница такая-то, говорящая голосом ожившей спички, вышла утром во двор по нужде и увидела за соседским забором.

– Пригласите живовидицу!

– Да чего ее слушать, все понятно! С быком случается только бычье, с виноградом – виноградное.

– Тогда говори ты, Велес!

Встал, окинул взглядом ряды, неспешно снял часы с руки, положил их перед собой, оперся кулаками о стол, вздохнул.

– Увы, нынешний материальный век, заботясь о неприкосновенности тела, выдумал пытки для души. Чего только не наслушаешься и не насмотришься, поездив по таким вот белебейм! Нет, калибаны и калибанши существуют не только на безвестном острове под твердою властью Просперо. Ничему уже не удивляешься, потянув эту лямку двадцать лет. Одно слово – *obscuri viri*!⁴ Никогда не забуду – накупили бабы на ярмарке зонтов и гуляют под ними, а как дождь пошел, зонты закрыли, чтобы не испортить, и подняли подола юбок на голову. Дикари! Убиваху друг друга, ядыху все нечисто, и брака у них не бываше, но умыкиваху уводы девица, живах в лесах и срамословие в них пред отци и пред снохами! Еще когда служил под Оренбургом следователем, бывало, приезжаешь на убийство, а вместо характерной обстановки находишь в переднем углу покойника, как следует обмытого, избу прибранную как бы для праздника. Разводят руками: «Вашу милость дожидали, приубрались, уж больно безобразно было!» Да что про это говорить! Ни ум, ни сердце цивилизованного человека не способны воспринять, как можно оставить на морозе слепую мать! Вот так вот едешь, читаешь или мечтаешь о чем-нибудь под перестук колес, потом выйдешь на обледенелую площадку подышать воздухом, а там на палец инеяросло. Надышишь, раздерешь пятаком в индевелых стеклах глазок в ночь, глядишь, как мимо ползут притоптанные угольки, и думаешь – вот, живет кто-то, может, сейчас как раз, в эту самую минуту, чай пьют, греются у печки, а там, оказывается, в сугробе вы замерзаете, ослепший от виденного, измученный от прожитого, забытый и ненужный, оставленный подыхать под Большой Медведицей. Думали-гадали – кто перед смертью поднесет попить. Вот вам ковшик! И ничего

⁴ Темные люди (*лат.*).

больше не останется, как просто присесть в снежок и всем все простить. По римскому закону матереубийцы подлежали утоплению в одном мешке с собакой, петухом, змеей и обезьяной. Будем же бороться с бактериями в общественном организме, пресекая опасную прогенитур, очищая природу и облагораживая сердца!

– Слово предоставляется защите.

– Вы мне не верите и не поверите, во-первых, потому, что мою подзащитную вы давно уже мысленно осудили, а во-вторых, потому, что в ваших глазах я, которого вы видите впервые в жизни, уже наперед причислен к лику прелюбодеев слова. Вот, вижу уже улыбки на лицах мундирной магистратуры, мол, теперь начинается водевиль, мол, как заливает – Бала-лайкин! Но мне надо кормиться. Нечего делать, нужно влезать в хомут. Если степень культуры определяется богатством получаемых впечатлений, то можно сказать, что чем женщина культурней, тем более разнообразится ее деятельность вообще и преступная в частности. Хочу поспорить с этим расхожим мнением. На той неделе на выездной сессии в Перелюбе судили неграмотную няньку. Ее уволили, и, уходя, она погрозила хозяевам: «Бог вам пошлет, вот увидите!» И действительно, после ее ухода ребенок мучился четыре дня, пока не заметили, что один пальчик посередине туго перетянут волосом, а узел скрыт между пальцев. Волос вдавился в кожу, вначале принимали за порез, потом палец воспалился, началась гангрена. Но сегодня перед нами вовсе не столь очевидный случай. Живут вместе две женщины, мать и дочь, две несчастные исковерканные судьбы, обе хлебнули в своей безрадостной бестолковой жизни лиха, обе мечтали о простом женском счастье, но не выпало оно им на долю, а выпало мыкать женское горе. Мать под старость ослепла, и Мокошь выводила старуху из избы под руки во двор. И все бы ничего, да тут схватки, воды, роды и все такое прочее. От кого ребеночек? Да мало ли от кого. От римского легионера ли, от плотника ли, от луча с золотыми пылинками – не наше собачье дело! Так вот, исстрадалась, намучалась, заснула. Не все ведь как кошки рожают. Вот разбирали летом одно дело в окружном, Григорий Васильевич как раз обвинял, а я защищал по назначению от суда, так что не даст соврать – ядреная такая, спелая деваха скрывала от родителей, перетягивала живот, а тут время пришло. Родила мертвого и с испугу бросила в печку. Оперлась, рассказывает, на кухне о стол, а из нее что-то вывалилось. Завернула в бумагу от селедки – и в топку. Мать потом увидела замытые следы крови на полу, залили печку водой, достали полуобуглившийся трупик. Врач дал заключение, что младенец был доношен и жизнеспособен и что он некоторое время после родов жил, так как в легких нашли воздух. А Мокошь, прижав к себе сыночка, заснула. И старуха, не желая будить намаявшуюся дочь, решила выйти на двор сама. Вышла, а обратно никак. Споткнулась о полено и упала. Звала, да никто не слышал. В одной легкой кофте долго ли замерзнуть. Вот и нашли ее утром – сидела в сугробе, прижав ладони одна к другой, будто молилась. Легче всего обвинить это незащитное существо с ее припиленными ушами, гутчинсонсовскими губами, седлообразным нёбом, с привычкой грызть ногти и с ослабленными подошвенными рефлексам! Но указка ли нам, православные, Ломброзо? Обвините вы ее сейчас, и будет для нее в удел одна юдоль, плач и скрежет зубовой. Милосердие есть душа справедливости. Отнимите у тела душу, и вы получите труп. Отнимите у справедливости милосердие, и вы получите букву. Один римский император, подписывая смертный приговор, воскликнул: «О, как я несчастлив, что умею писать!» Я уверен, что старшина ваш, подписывая приговор оправдательный, будет чувствовать иное и скажет: «Как я счастлив, что умею писать!» Да свершится правосудие! Не сомневаюсь, что ваш приговор будет оправдательным и что вы отпустите дуреху с миром и соберете в ее пользу некоторую сумму денег.

В перерыве кто-то из присяжных уже набрался в буфете и кричит на весь зал:

– Захочу – обвиню, захочу – оправдаю!

Перун в своем напутствии просит руководствоваться только внутренним убеждением, здравым смыслом и совестью, сами ведь знаете, говорит, закон что дышло, виноватого кровь

– вода, а невинного – беда, без рассуждения не твори осуждения, за чужой щекой зуб не болит. И добавляет:

– Помните: не нужно бояться великодушия – оно никогда не развращает, а лишь облагораживает, даже дурных людей.

Не успели выйти, как уже возвращаются, подталкивая друг друга.

Все встают. Старшина крестится на образ и, откашлявшись, произносит:

– Все живые существа ищут счастья и избегают страдания.

И начинается будущее.

Ребенка у Мокоши отнимут и отдадут в приют, где жарко топят и оставляют на ночь голыми в кроватках на пустой клеенке – чтобы не стирать лишний раз.

Сама она в тюрьме наплачется, потом товарка научит притвориться умалишенной.

– Вот увидишь, – скажет, – сначала переведут в буйное, а там комиссию назначат – и никакой Колымы.

Мокошь станет ночами истошно орать, выть, ругаться, обнажать половые органы, обмазываться собственными испражнениями. Ее и вправду переведут в буйное, где служители молчат и ходят для тишины в валенках. В комиссии будет опытный врач, который шепотом скажет молодому коллеге, только что закончившему курс и вообще первый день на службе:

– Проверить симуляцию, Дмитрий Михайлович, очень просто...

– Николаевич, – поправит покрасневший дебютант, глядя, как Мокошь мочится прямо на ковер, стоя, не присев, только задрав юбку.

– Разумеется, прошу простить, Дмитрий Николаевич, после бессонной ночи, знаете, и не то забудешь. Арестантка двойню рожала – пришлось помучиться. Мальчик и девочка. Сколько уж принял, а каждый раз радуюсь, как студент. Спрашиваю ее, как назовете? А она: Саша и Саша. Да кто ж так делает? – удивился. А мне все равно, в честь отца. Да какая уж честь, говорю, он человека зарезал! А она мне: и правильно сделал, что зарезал! Вот так вот, Дмитрий Михайлович! А с этой дамой мы сейчас раз-два – и готово! Вот смотрите!

И скажет громко:

– Надо дать ей хлороформу! Она уснет, и припадок пройдет!

И поднесет Мокоши, корчившейся в судорогах на полу, понюхать мятного масла.

Та постепенно станет слабеть, замрет и успокоится.

– Вот видите, Дмитрий Михайлович, как все просто. У них это называется «косить». Каждый ломает тут ваньку, будто перед ним недоумки, а к северному сиянию в нетопленный барак снежок жрать никто не хочет. Давайте я вам покажу, как заполнять бланк освидетельствования!

И отправят Мокошь на этап. В Потьму. А накануне перед отправкой ночью она зацепится полотенцем за решетку и удавится. Соседка потом, когда будет рассказывать в поезде после раздачи селедки, за окном как раз мелькнет надпись «Саракташ», скажет про смотрительницу:

– Та, как увидела, затряслась. Понятное дело, за свои места дрожат – народ тоже есть хотящий.

Сварог в Пицунде в соломенном ресторане на берегу будет смотреть, как жена ест пирожное и говорит что-то, подбирая вилкой крем на тарелке. Потом на даче в Вербилках внесут в дом окрепшую за лето пальму. Его сын через два года вдруг закричит: радуга! – это няня гладила, брала в рот воды и прыскала. Еще через год Сварог будет класть мать в гроб, а та вдруг улыбнется. Сварог отпрянет, и ему объяснит служащий из бюро: ничего страшного, это бывает, просто судорога мускулов. На следующее лето он будет плыть рядом с лодкой, схватившись руками за борт, открывать рот, и новая жена будет класть ему туда клубнику. Свою последнюю речь он закончит, перечеркнув указательным пальцем спертый

воздух набитого битком зала крест-накрест: «Ни преступления, ни наказания!» За обедом у него вдруг хлынет кровь горлом – прямо в тарелку.

А Велес через много лет будет лежать ночью без сна и ни с того ни с сего подумает:

– Господи, спасибо тебе за этого ребенка, что посапывает в кровати, за эту женщину рядом со мной, за эту полоску света на потолке, за этот гудок ночного товарняка, вот за эти две звезды в форточке.

А Перун, вытирая платком потную шею, махнет рукой:

– Быть грозе!

И тут же, не смея послушаться, прокатит по дачным крышам далекий гром.

– Вон, посмотри, Рыжик, – Перун ткнет пальцем в сторону рощи, – посмотри, какая созрела слива!

Оттуда, опираясь о верхушки берез, поползет светопреставление, громыхая, ворочаясь, вспыхивая.

– Когда я был маленький, Рыжик, вот как ты, – скажет Перун Рыжику, потому что больше ему не с кем будет разговаривать, – только ты уже старик с хвостом, а я в твои годы был еще мальчиком и читал книжки. И вот в одной книжке было про собаку, которая пришла на могилу хозяина и там его ждала. Мол, давай, вылезай, пойдем, как обычно, по нашему маршруту: булочная, молоко, газетный киоск, сквер, я понесу тебе в зубах газету! Сердобольные кладбищенские клали ей под нос куски хлеба, яички или что там еще, но она ничего не ела, так и умерла от верности и истощения. Закопали ее тут же, в могиле хозяина, так что снова они встретились и все ходят где-то по своему маршруту: булочная, молоко, газетный киоск, сквер, и она каждый раз несет в зубах газету. Вот видишь, Рыжик, какие бывают собаки! А вот я не сегодня завтра сдохну, что с тобой будет? Даже отдать тебя некому. Пропадешь, псинка ты моя!

Крыша соседского сарая сперва покроется редкой сыпью, затем враз намокнет, засверкает, отразив небо. Тополя за забором заходят ходуном. На дорожку полетят с сосен сухие ветки. Забарабанит по кусту сирени. Из водостока сначала робко закапает, затем польется струйкой, потом рванет целый поток, стремительный, с разбега, мимо бочки, будет расплескивать по флоксам кирпичную крошку и грязь.

И Перун на веранде схватит за подол выбросившуюся в окно занавеску.

И мир покатится в тартарары, обрастая подробностями, как снежный ком, и будет сопеть, урчать, цыкать, шамкать, грассировать, откашливаться, гундосить и мычать до скончания веков, пока кто-то не захлопнет эту книжку в звездном переплете.

Вот и сподобился.

Ликуйте, афиняне!

Любезному Гипериду от протухшего словаря русских судебных ораторов. Настоящим доносим до Вашего, что надо признать. Никуда не денешься. Посему при подготовке очередного издания сочли возможным и в чем-то даже – врать так врать – желательным включение в наш почтенный ежегодник статьи и о Вас, чем поневоле отдаем должное Вашей многолетней благотворной деятельности на поприще выяснения Истины, являющейся, как записано в статутах, продуктом судебного разбирательства. Поймите, дорогой наш, недоброжелатели и завистники тоже ведь не всемогущи, так что вот тебе, братец, словарная статья третьей степени за выслугу лет. Лучше поздно, чем после твоей смерти. И потому, колючий, но великодушный Гиперид, умеющий добиваться прощения злодеям с морелевыми ушами, прости и ты нам и вышли заказную фотографию и свою жизнь на двух страничках, сколько сблудивших рыбиц из моря человеческого спас ты от крючка и не кусал ли в детстве мамку за сиську.

Сел писать свое прохождение жизни, но попало какое-то перо-заика.

И так пробовал и этак, и с начала начинал и с конца – а все некролог выходит. Взял с полки том, полистал, мамочки родные, не словарь, а кладбище.

Так и начать:

Ему нужен покой. И есть от чего отдохнуть.

Или:

Усопший был продуктом своего времени, шального и недальновидного, смалывающего человека своим жерновым камнем на чью-то потребу. На чью потребу?

Выпил чаю, глядя в окно. Там стая птиц кружила над деревьями, будто их кто-то гонял ложкой, как чайники.

Захотелось пройтись. Зашел к Анечке. Мой ангелочек потянулся ко мне, обрадовался, пустил слюнки. Я снес ребенка вниз, посадил в коляску. Мы пошли в Знаменский парк. Приходим, а там осень. Все ей рассказал: смотри, вот это сентябрь. Вот это, держи, кленовый лист, его можно поставить дома в вазочку, забыть в книге или просто запомнить. Эта дорожка ведет до реки Волги, которая до песчаных берегов наполнена инфузориями. Волга впадает в Гирканум. Вон дети прячутся за деревьями. Тут, гляди, в лужице солнце. Астры. Они цветут. Сосна. Она бросается шишками. Воздух. Он, нюхай, пахнет. Там, наверху, между веток, Бог. Вот это ветер, он забирает с собой прошлое. Болтаю что-то, и чудо мое улыбается.

Вернувшись, опять потащил себя за шкурку в кабинет. Снова стал листать словарь. Зачем? Для чего? Кому? Напечатают петитом несколько бесполох фраз, поместят фотографию какого-то экспоната из музея восковых фигур. Какое все это имеет отношение к опостылевшей комнате, замурованной кирпичами книг, к начинающей стремительно стареть коже, к зеркалу, в котором живет правша?

Мучил себя, мучил, потом плюнул. Дело терпит. На следующей неделе напишу. И тогда – потеснитесь, высокомерные сокамерники по алфавиту! Я со своим узелком лезу к вам на нары вечности! Пусть узнает обо мне жучок-буквоед на книжном складе! Вот сдохну, и будет эта книжка моим единственным земным пристанищем. Спрячусь там, прикрывшись обложкой, и затаюсь в засаде среди страниц, пока – в ожидании Страшного суда – кто-то не возьмет, чтобы успокоить захныкавшего ребенка, первый попавшийся фолиант с полки:

– На, Манечка, полистай картинки, – и тут мне, распахнутому из небытия, детский пальчик ткнет боязливо в бороду – вдруг цапну.

Где ты, проснувшийся среди ночи Гиперид? Как ты сюда попал? Что это за голоса кругом? Кто эти люди?

Все здесь какое-то непрочное, зыбкое, переливчатое. То какой-то шепот, то чье-то невнятное бормотание. Все здесь какое-то странное. И люди здесь не совсем живые, и мертвецы не совсем мертвы. А может, этот сентябрь – самый Гадес и есть? Обернись! Взгляни! Вдохни полной грудью! Кругом заливные асфodelевые луга. За перелеском тянутся стигийские болота, оттуда каждый год ведрами тащат клюкву, морошку. Краснощекие листья сыплются в студеную Ахеронтку – и не скажешь, что когда-то была судоходной, так заросла, затинилась. В камышах, услышав шаги, замирают лягушки, в омуте – облака. Насвистывая, идет по тропинке отец, полы распахнутого пальто цепляются за репейник. Остановился, ковырнул носком ботинка чем-то привлечший голыш, хмыкнул, зашагал дальше.

– Отец!

Не слышит.

– Отец, постой!

Оборачивается. Морщит лоб, водит глазами, прислушивается. Поднимает хрустнувший сучок. Бросает в речку. Всплеск. Разбегаются круги. Листья, прилипшие к черной воде, качаются на волнах, как на детской лошадке.

– Отец, ты совсем стал плохо видеть. Вот он я. Вот моя рука. Дай я тебя обниму.

Трогаю его потертое, обсыпанное березовыми семенами пальто, а рука проваливается куда-то. Там, внутри отца, какой-то кисель из пустоты.

Он усмехается:

– Ну, что я говорил! Все тела состоят из киселя, кисель – из атомов, атомы – из букв.

Покойный родился в семье директора школы, где в цветочном горшке на подоконнике огрызок яблока, а из туалета лезет запах мочи.

Чу! Что за нездешние звуки летят по пустынным вечерним коридорам? Чьи шаги нарушают дерзко покой цитат и портретов? За кем бежит вприпрыжку по натертому до свиста паркету эхо Медведниковской гимназии?

Это бьет сарацин-невидимок шлемоблещущий мальчик, измученный очками с одним стеклом от косоглазия и истерзанный навязчивым страхом проглотить паука. Отец подарил мне на шестилетие сделанный в столярке учениками рыцарский набор – шлем, маленькие латы, похожий на крышку от кастрюли щит, обоюдоострый меч и длиннотенное копье. Вечером, когда здание запиралось на ночь, я убежал из флигеля, где отцу дали казенную квартиру, и с воплями носился по темным коридорам, разя направо и налево полчища врагов. Это был мой захваченный ими дом, мой замок, моя крепость, и я в яростных схватках срубал чалмы вместе с головами с обидчиков, очищая от скверны школу этаж за этажом.

По-моему, я был единственный, кто не боялся отца. Хотя под его взглядом, приводившим в моментальное смирение любой, даже самый отчаянно бунтовавший класс, и мне иногда становилось не по себе. Кроме математики отец преподавал логику. Закуривая, он говорил:

– Приятное иногда предосудительно, а предосудительное всегда вредно. Следовательно, вредное иногда приятно.

Надевание на меня ненавистной теплой фуфайки сопровождалось заговором:

– Шерстяные одежды поддерживают тепло в теле. Предметы, поддерживающие тепло, – дурные проводники тепла. Следовательно, некоторые дурные проводники суть одежды из шерсти.

Слова заворачивали, и я не сопротивлялся.

Иногда, если мне удавалось его упротить, он рассказывал мне перед сном удивительные, ни на что не похожие сказки. Действие происходило где-нибудь в Индии или Африке. В них египтянка могла прийти со своим сыном к Нилу, и там на берегу ребенка хватал выбросившийся из воды крокодил. Мальчика в этих сказках всегда звали как меня, и было ему всегда столько же лет, и выглядел он всегда так же, даже очки носил полужаклеенные. Египтянка начинала рыдать и просить крокодила вернуть ей Сашу.

Я ощущал когтистую тяжелую лапу на моем загривке, чуял смердящее утробное дыхание, слышал над ухом клцанье корявых зубов.

Тут крокодил говорил:

– Верну, если угадаешь, исполню ли я твою просьбу или нет.

Мать отвечала:

– Не исполнишь.

Крокодил:

– Теперь ни в коем случае я не должен отдавать тебе ребенка. Если твой ответ верен, то ты не получишь его по собственным словам, если же неверен, то ты не получишь его по уговору, – чудовище собиралось уже проглотить меня.

Дальше происходило чудо. Египтянка торжествующе заявляла:

– Если мои слова верны, ты должен отдать ребенка мне по условию, если же нет, то ты отдашь мне моего ребенка.

Челюсти разжимались, и я оказывался спасен.

Что-то не спится. Все вспоминаю отца, нашу квартиру, маму.

Вот он за солнечным завтраком ловко, с хрустом, отсекает яйцо всмятку пустую голову. Вот в актовом зале на выпускном экзамене торжественно вскрывает конверт с темами для сочинения, а ножницы вдруг выпрыгивают у него из рук и прыгают, лязгая, по паркету. Вот он играет на мамином дне рождения на рояле, и к Шопену примешивается легкая кастаньетная дробь – у отца были длинные холеные ногти. А это мама – проверяет, заплетая на ночь свою тоненькую косичку, выучил ли я заданный урок. Перед уходом в театр целует меня, и сережка остается в моей кровати.

Они совершенно не подходили друг другу, отец – весь в иголках и педант, она – забываха и растрепана. Ее пальцы вечно были в пятнах от химикатов. Мама преподавала химию, ничего в ней не понимая. Предмет свой не любила совершенно, но больше всего боялась это показать. Попыты у нее постоянно не удавались. А если что-то все же получалось и белое превращалось в красное, огонь в воду, а камень в стружку – удивлялась превращениям не меньше других. За опытами всегда бормотала, будто молилась химическим богам, жившим в вытяжном шкафу.

Она могла пройти по актовому залу в перепачканном мелом жакете. Из-под юбки мог сверкать, как клинок, край белья. Отца ее неряшливость бесила, но он никогда не повышал голоса, разве что выдавал какой-нибудь недоступный мне силлогизм, но очевидно хорошо понятный маме, потому что после этого они могли не разговаривать друг с другом днями.

На обеденном столе, серванте, на каждом стуле, на моей кровати темнели в укромных местах бляхи с инвентарными номерами. Даже картины на стене были казенными. Отец, помоему, и не хотел иметь ничего своего. Он был легкий и будто боялся вещей.

Когда я сильно надоедал ему, он брал какую-нибудь книгу потолще с полки и говорил: – На, Сашенька, полистай картинки!

На картинках были изображены какие-то странные люди в передниках с головами шакалов и крокодилов. Картинок было мало, но то, что в толстой взрослой книге было написано, увлекало гораздо сильнее, чем какие-нибудь Каштанки. Я принимался читать и никак не мог оторваться, хотя многое было просто недоступно моему детскому разумению. Меня смущало, например, не то обстоятельство, что Осирис был женат на своей сестре, но упоминание, что он вступил с нею в брак еще до рождения. Было непонятно, как это перо на весах может перевесить сердце, или что значит зачать от мертвого, и вообще что такое фаллос. Хотя, с другой стороны, многое казалось чем-то родным: когда Осириса бросали в сундуке в воды Нила, это живо напоминало «туча по небу идет, бочка по морю плывет», феникс сверкал перьями не хуже жар-птицы, а саркофаги с мумией внутри вкладывались один в другой, как матрешки.

Я снова приставал к отцу:

– Значит, после смерти каждый становится Осирисом?

Он проверял тетрадки за столом и кивал мне головой:

– Да.

Я не унимался:

– И Пушкин Осирис?

Он снова кивал:

– И Пушкин. Не мешай.

Остановиться я не мог:

– И ты Осирис?

Отец откладывал перо, смотрел на меня и улыбался:

– Нет, я ведь еще не умер.

– А когда ты умрешь?

Он смеялся. И вдруг говорил зловещим шепотом:

– А где вчерашняя газета?

И тогда наступали счастливейшие минуты. Мы сворачивали из старых газет дубинки и начинали колошматить друг друга, гоняясь по комнатам.

А ведь я уже старше тебя, мой водохлеб. Где ты?

Он всегда пил только одну чистую воду из графина, стоявшего на обеденном столе. Отец говорил:

– Человек на 80 процентов состоит из воды, а не из чая с лимоном или кофе со сливками.

Ну вот, хотел набросать черновик *curriculum vitae*⁵, а получилось что-то à la Карл Иванович.

Принимаю. Входит девочка, робко, бочком, испуганная, глаза на мокром месте, нос красный, распухший.

– Что же вы там встали? Смелее, смелее, проходите, присаживайтесь.

Села на краешек.

Взглянул на визитную карточку.

– Значит, это вы, мадемуазель, и есть Лунин Павел Петрович?

Смутилась еще больше, вскочила.

– Это мой отец, мы с ним выступаем вместе. Но все это недоразумение, папа ни в чем не виноват! Это какая-то ошибка!

Насилу усадил:

– Да успокойтесь вы, ради бога!

Сморкается, шмыгает носом, вот-вот разревется.

– Вы даже не можете себе представить, как все это ужасно!

– Милая моя, – отвечаю, – уверяю вас, я легко могу себе представить все на свете. Ну, рассказывайте, посмотрим, чем я могу вам помочь.

– Мой отец... Он... Его...

Вот и рыдания. Лицо прячет в платке, плечики дрожат, оттопыренные уши полыхают.

– Да прекратите вы, наконец! Как вас зовут? Выпейте воды!

Шепчет чуть слышно:

– Аня...

– Вот видите, и у меня дочка Аня, Анечка. В два раза вас меньше, а так не плачет!

Сначала отказывалась, потом выдула целый стакан.

Смотрю, как она пьет, как, извинившись, встает, подходит к зеркалу, чтобы привести себя в порядок, как пудрит по-взрослому нос, как проступает сквозь облегающее платье резинка пояса для чулок. И знаю наперед все, что скажет. Умоляю, скажет, спасите моего ни в чем не повинного отца, убившего третьего дни при невыясненных обстоятельствах под гудок далекого курьерского до сих пор не опознанное тело, небось читали в газетах, везде про это пишут. Да-да, конечно, читал, еду позавчера на дачу полуденным сентябрьским поездом, солнце прошибает вагон насквозь, а вдоль насыпи тополя, и вот газета то вспыхнет, то погаснет, не «Волжский вестник», а морской семафор: точка-тире, точка-тире. Глаза болят.

– Следствие, насколько мне известно, Анна Павловна, не располагает какими-либо серьезными уликами против вашего отца. Все так неопределенно, запутанно. Неизвестно ни кто явился жертвой, ни мотивы преступления. На догадках нельзя построить серьезного обвинения, потому и мерой пресечения господину Лунину избрана лишь подписка о невыезде.

– Поймите, это удивительный человек, он совершенно не способен на такое!

⁵ Жизнеописание (лат.).

– О, милая девочка, вы даже не знаете, на что способны эти удивительные люди! Впрочем, простите. Я лично глубоко убежден в полной невинности вашего отца. Разумеется, это всего лишь огорчительное недоразумение. Уверен, что в ближайшее время обстоятельства этого неприятного дела вполне следствием прояснятся и полиции придется принести вам извинения. Если же дело, паче чаяния, все-таки доберется до суда, что ж, благодарен за доверие, которое вы мне оказываете. Не сомневайтесь в моей поддержке. Дело абсолютно выигрышное. Я сделаю все, чтобы Павла Петровича оправдали. Кстати, а что же он сам не пришел?

Вроде успокоилась, радостно кивала головкой, а тут опять встрепенулась, испуганно пролепетала:

– Он плохо себя чувствует. Он болен. У него температура.

– Что ж, передайте ему в таком случае мои искренние пожелания скорейшего выздоровления.

Вскочила, растерянно зарделась.

– Деточка, что еще?

Протягивает конвертик.

– Что это?

– Здесь пятьдесят рублей. У нас больше нет.

– Спрячьте!

Сует конверт мне на стол под бумаги.

– Что вы делаете? Заберите немедленно деньги!

Испуганно мотает головой.

Взял конверт и засунул ей в сумочку.

– Возьмите хоть контрамарки! – встрепенулась. – Приходите с дочкой, мы выступаем в театре Зимина. Вам очень понравится.

– Забавно. И когда же?

– Да хоть сегодня вечером.

– Позвольте, но ведь ваш отец болен.

– Вы не понимаете, он артист. Он не может не выйти на сцену, когда выход уже объявлен!

Шмыгающая носом Аня, тебе кажется, что этот человек, к которому ты пришла, большой, сильный, благородный. На его речи ходит по билетам публика. Волжская знаменитость, к которой обращаются за помощью, когда в семью приходит горе. Последняя надежда. А он, может, обгрызенного твоего мизинца даже не стоит.

Завтра:

К зубному.

Сфотографироваться.

Заказать у Толбеева книги по каталогу.

Смотреть закладные по делу Е.

Вечером – театр Зимина (?).

Никуда нельзя пойти, чтобы не встретить знакомого. Нынче в Зимина, в гардеробе. Суэта. Мокрые зонты, плащи. Со шляп течет. Театральные запахи: из зевающих дамских сумочек, от пыльных плюшевых диванов, от намокших волос гимназисток. Из буфета тянет жареным кофе.

Все смотрят на мою девочку. Иду гордо, веду ее за ручку.

– Идем, Анечка, сейчас начнется.

Тут К.К.

– А вот и Александр Васильевич собственной персоной! А крошка ваша как вымахала! Ангелочек наш! Кавалерист-девица!

Лопочет что-то с восклицательными знаками. В бороде крошка, на галстук пятна щей. Покойница, небось, переживает, смотрит сейчас откуда-нибудь из зеркала на своего вдовца и сокрушается – без нее ничего не может, совсем опустился.

– Вот моя-то на вас бы, Александр Васильевич, порадовалась! Уж она в вас души не чаяла! А народа-то смотрите сколько пришло! Говорят, начинал при пустом зале, а теперь – битком. Публика-то у нас сами знаете какая. Им бы все на злодея поглазеть. А порядочный человек – зачем ей нужен? Вы уж на сороковины загляните. Ей будет приятно.

Обещал. Куда денешься.

Уже простились, пошли в зал, старик все махал Анечке, та пускала от удовольствия пузыри, вдруг он опять как стиснет мне руку и шепотом в ухо:

– Вы святой человек! Я благодарю вас!

Милый, глупый К.К. Почему-то они все думают, что это должно приносить страдание – вот так за ручку гулять с моим чудом в каком-нибудь людном месте. И ничего не объяснишь, а начнешь объяснять, будут кивать головой и жалеть еще больше. Бог с ними.

Душный знаменский зальчик действительно был полон. Посадил Анечку на колени.

– Смотри, сейчас дядя волшебник будет показывать всякие фокусы!

Публика нетерпеливо аплодировала, мое чудо тоже захлопало в растопыренные ладошки.

Занавес чуть колыхался на закулисном сквозняке. Я все вытирал красавице моей слюнки. Наконец сцена открылась и к рампе вышел не индус в чалме и не Мефистофель в огненном плаще – этим персонажам я бы не так удивился, – на сцену вышел мой учитель чистописания Громов, вальяжный, большеголовый, подслеповатый. Все та же холеная бородка, та же снисходительная полуусмешка, те же длинные розовые ногти. Сказать, что я испытал трепет, – ничего не сказать. Вдруг сразу вспомнил себя растоптанным школяром, которому этот ушедший после какой-то истории из университета профессор презрительно бросил на парту тетрадку со словами:

– Это, любезный, не из русской чернилницы.

Как тут не поверить если не в переселение душ, то хотя бы тел. Даже голос переселился. Даже манера повторять по несколько раз сказанное, чтобы дошло до тупиц за последними партами. Даже школьную доску захватил с собой мой неудачливый профессор.

Начал Лунин с математических экзерсисов. Ему ассистировала переселившаяся Шахрезада – в зеленых шароварах, с голым животом, в полупрозрачной чадре. В прелестнице, семенившей по сцене под перезвон колокольчиков на поясе, сложно было узнать мою заплаканную доверительницу.

На черной доске она писала мелом заказанные охотниками из публики пятизначные числа, которые Лунин с легкостью умножал, делил или возводил в квадрат.

– Поверьте, – усмехался он в ответ на аплодисменты, – в этом нет ничего особенного, ничего особенного. Просто каждый из нас использует данное ему кое-как, с ленцой. Чтобы стать силачом, нужно просто почаще напрягать мышцы, напрягать мышцы.

Перешли к шестизначным. Лунин подносил ладони к вискам, напрягался на какое-то мгновение, затем небрежно бросал ответ. Один раз ошибся, но тут же сам себя поправил.

Неверующий Фома, переселившийся в моего пузатого, тяжело дышавшего соседа сзади, сам полез на сцену с заготовленной бумажкой. Придирчиво осмотрел мел – вдруг с подвохом, повернул доску так, чтобы было видно только зрителям, и, сверяясь со своим листком, вывел два ряда цифр, которые нужно было перемножить. Лунин сказал:

– Можете не показывать мне, просто назовите.

Выслушал, глядя куда-то в потолок, только кулаки его терлись друг о друга, и неспешно произнес какое-то бесконечное число.

Фома, тупо глядевший в бумажку, просиял и под аплодисменты развел руками, мол, ничего не попишешь. На свое место он вернулся весь перемазанный мелом.

Лунин запоминал за несколько мгновений длиннющие ряды чисел и воспроизводил их справа налево и слева направо, вытворял еще какие-то чудеса с арифметикой, но все это была только прелюдия, разминка.

Лунин объявил, что обладает уникальными способностями читать любой текст пальцами и готов сообщить содержание любого послания, запечатанного в конверт, не вскрывая его. Одалиска забежала по рядам, раздавая желающим бумагу и конверты. Подбежала и к нам. Улыбнулась под газовой чадрой:

– Вот, возьмите!

Упорхнула, оставив после себя запах дурманящих духов и детского пота. Лунин предупредил:

– Прошу вас, господа, не писать печатными буквами! Поверьте, не стоит без нужды упрощать эксперимент!

Я проверил конверт, бумагу. Вроде без обмана. Достал самописку. Загородив ладонью, чтобы никто из окружающих не мог подсмотреть, крупно вывел:

ТЕЛЕГРАММА

Потом мелко, обычным своим почерком:

«Смертоубийство не вменяется в преступление, когда оно было последствием дозволенной законом обороны собственной жизни или целомудрия и чести женщины или жизни другого».

Хорошенько послунывил, заклеил, еще раз проверил на свет, на ощупь и отдал подбежавшей Ане.

Собранные конверты были положены перед Луниным на поднос. Воцарилась тишина.

Он поднял руки, слегка потряс ими в воздухе, как бы давая им расслабиться, отдохнуть. Взял из кучки первый конверт, положил перед собой, зажмурился, стал водить над ним пальцами. Было видно, что лицо его напряглось, взбухли жилы. Лунин долго молчал, наконец произнес:

– Я помню чудное мгновенье.

Оглянулся.

– Встаньте, кто это написал.

В третьем ряду против нас встала растерянная девица. Покраснела, захлопала в ладоши. Лунин разорвал конверт и продемонстрировал пушкинскую строчку зрителям. Остановив восторг публики мановением руки, он взял следующий конверт. Там кто-то объяснялся в любви. Опять послание было прочитано без ошибки. В третьем была запечатана латинская гимназическая мудрость.

– У вас здесь ошибка, – скривил губы Лунин, прежде чем вскрыть конверт, – *Ad calendas grae-saz*⁶ – в греках вы второпях пропустили Е.

Лунин взял следующий конверт. Напрягся, закрыл глаза, стал водить по нему ладонью.

– Ну это просто – «Телеграмма». Встаньте, чье это?

Мне стало не по себе. Снова ощутил себя напроказившим мальчишкой. Я встал, моя глупышка вскочила тоже – на нас обернулся весь зал.

⁶ До греческих календ (лат.).

– Я же просил не писать крупно печатными буквами, – недовольным тоном произнес Лунин.

Чтобы как-то подбодрить себя, я крикнул:

– Читайте, читайте дальше!

Его пальцы несколько раз пробежали по бумаге. Он перевернул конверт, снова забегал пальцами, опять перевернул. Лицо его изменилось, самодовольная улыбка исчезла. Мне показалось, что он побледнел.

Наконец медленно произнес слово в слово написанное мной.

– Верно?

Снова все обернулись на нас.

Меня пот прошиб. Я только смог промямлить:

– Да, верно, – и брякнулся в кресло. Зал захлопал в ладоши. Анечка моя испуганно прижалась к моей руке, я стал гладить ее по головке.

– Все хорошо, чудо мое, все хорошо!

Объявили перерыв. Мы вышли в фойе. Моя крошка почувствовала, что со мной что-то не так, и стала хныкать. Зная, что уже не успокоить, повел в гардероб. Только стали одеваться, вдруг:

– Вот вы где, а я вас ищу, ищу!

Оглянулся – это Аня, с огромными накладными ресницами, в румянах. Завернута в толстый отцовский халат.

– Пойдемте, я познакомлю вас с папой!

Мы пошли за кулисы. Там было темно, тесно от пыльного хлама, воняло машинным маслом. Прошли мимо ряда обшарпанных дверей и остановились перед последней. Аня постучала.

Раздался недовольный голос:

– Кто там еще?

Аня заглянула в комнатку:

– Это мы!

Мой оживший учитель чистописания сидел с закрытыми глазами перед зеркалом и тер себе виски чем-то из флакона. Сильно пахло аптекой. Ободранные стены были обвешаны дохлыми афишами.

– Позвольте выразить вам мое восхищение, – начал я. – Вот уж не думал, что на свете еще случаются чудеса. Чтобы переплюнуть девицу Ленорман, вам остается только предсказать, помимо дня своей следующей смерти, дату и место воскрешения, а также сообщить по секрету, каким образом вы добыли тело моего покойного учителя господина Громова.

Лунин открыл уставшие желтые глаза. Его лицо было серым в свете тусклой лампочки, лохматой от пыли.

– Что вам еще от меня нужно?

– Прекрати! – вспыхнула Аня. – Это же Александр Васильевич!

Лунин снова закрыл глаза.

Аня растерянно улыбнулась, чтобы как-то сгладить нелюбезность отца.

– Пожалуй, мы пойдем, – сказал я. – Кажется, господин волшебник не в духе.

Лунин вдруг грохнул кулаком о стол. Флакон подскочил и, упав на пол, разбился. Во все стороны брызнули осколки, я еле успел закрыть рукой лицо моей крошке, чтобы не попало в глаза. Она заревела.

Лунин вскочил и сказал, стиснув зубы, почти спокойным голосом, не глядя на меня:

– Я не нуждаюсь ни в каких защитниках. Послушайте меня внимательно. Подите все вон! Я устал! Я никому больше не собираюсь ничего объяснять. И передайте вашему прит-

кому следователю господину Истомину, что если этот молокосос еще раз ко мне заявится в гостиницу со своими уликами, я спущу его с лестницы!

Я пожал плечами.

Аня смотрела на отца с ужасом.

Я взял ревущее чудо мое на руки, стал гладить по голове.

– Уверяю вас, – сказал я перед тем, как уйти. – Со мною никто в жизни ни разу не позволил себе такого тона. Но я готов понять ваше состояние. Боюсь, вы недооцениваете всей серьезности ситуации. Прощайте.

Он закричал нам вслед:

– А мне плевать на вас и на вашу ситуацию! Я ни в чем не виноват и ни перед кем оправдываться не собираюсь!

Дали звонок ко второму отделению.

Мы уже выходили на улицу.

Хорошо, что ты был со мной, мой воробышек. Спасибо тебе. Сейчас вот посидел у твоей кровати, почитал тебе твою любимую книжку с аршинными картинками, поцеловал твой заснувший кулачок, и вся эта история показалась даже забавной.

А ты сопишь себе во сне. Вот бы залезть к тебе в сон. Что там, как? Где ты сейчас? С кем? Думаю о тебе, спасение мое, и, значит, как раз сейчас тебе и снюсь.

Все кругом делают вид, что жалеют тебя, а на самом деле боятся. А может, меня жалеют и себя боятся.

Наклонился над тобой поцеловать на ночь, а у тебя глазки под веками бегают, и дышишь тяжело, часто – куда-то бежишь. Куда бежишь, от кого? Ничего не бойся, единственная моя, я с тобой, беги ко мне. Вот я. Нам с тобой вдвоем ничего не страшно.

Сороковины.

Думал, один только и приду, а там чуть ли не все наши судейские. И уж сословие все как на подбор. Старика К.К. грех не любить, вот все и любят. И друг другу, чокаясь, на ушко:

– А покойница-то, прости господи, вредная была баба! Как это он с ней тридцать лет?

И хором:

– Вечная ей память! А вы, дорогой наш К.К., крепитесь, держитесь, она ведь не умерла вовсе, смерти-то, сами знаете, нет. Где-нибудь ваша половинка здесь, рядышком, смотрит сейчас на вас, головой качает, радуется, что помним ее, поминаем, пьем за ее сварливую душу и ее же грибками закусываем. Вот ведь как, дорогой наш К.К., вашего родного человека уже на земле нет, а грибки вот они, ее, знаменитые, пряные, крепкие, похрустывают! Да и потом, по правде сказать, может, вы и еще женитесь, под старость, знаете, хорошо пригреться у здорового тела!

А К.К.:

– Да-да, именно так, дорогие мои, я ведь тоже тут подумал, что со смертью что-то не так! В гробу лежала – как чужая. Смотрю на нее и думаю: нет, это не моя Маша, это кто-то еще. Ночью не спится – все кажется, что она в соседней комнате в шкафу вещи перебирает. Встану, войду туда – никого. Открою шкаф – а там ее запах. Вы понимаете, там ею пахнет. Да и куда ж ей деться! Вот и разговариваем все время. Что-нибудь спрошу или расскажу. А она молчит. Молчит, ну и пусть молчит! Хочешь дуться – дуйся себе на здоровье. Мы ведь так с ней и жили – по целым дням друг на друга шипели. Вот и сейчас она где-то здесь, просто за что-то на меня обиделась и не хочет выйти. Давайте я вам, Александр Васильевич, лучше мои сокровища покажу!

Пришлось в сотый раз восторгаться и шоколадным Моцартом, и Гёте, взирающим со дна пепельницы, и Кантом на пивной кружке.

И поддакивать:

– Да-да, удивительный народец! Просто удивительный. Потому у них там бог знает что и творится: и лагеря, и топки, и погромы, и костры из книг, что все вперемешку – и вершки и корешки. Нет, тевтонец, оставь верх верхам, а низ низам! А вот и господин Истомин! Вам, молодой человек, штрафную!

Блондин. Макушка под потолок. Нервный. Не знает, куда деть свои десять рук. На длинной шее голова дергается, как у петуха. Все время поправляет очечки. Ни зеркала не пропустит, ни стекла в серванте. Платочек наготове. И ноги тоже мешаются, то так их пристроит, то этак. Выпил, поморщившись. Зато закусывает с аппетитом. Это тебе не казенный буфет.

К.К. не унимается:

– Вот, угощайтесь, здесь судак, здесь заливное, тут холодец, блинков, блинков ему положите!

И все хором:

– А вот оливье! Не закрывайте тарелку, давайте я вам селедочки под шубой, вот так, вот так!

Истомин:

– Благодарю, благодарю!

Хор:

– А кстати, господин следователь, трудный вам орешек для первого дела подсунули мойры?

Истомин:

– Все, знаете, лучше, чем украденный гусь или растрата в ссудной кассе.

Хор:

– Да вы не сердитесь на нас! Что вы, право, такой букой.

Истомин:

– Да с чего вы взяли, что я сержусь?

Хор:

– Вот вы молодой, горячий, хотите всем сразу себя показать. Это хорошо. И мы такими были. А что, скажите, уже какие-нибудь успехи есть?

Истомин:

– Не скрою, кое-что мне уже удалось. Но не думаю, что было бы в интересах следствия сейчас распространяться об этом.

Хор:

– Ну что вы ломаетесь, как красна девица! Что-нибудь дал опрос тех, кто был в гостинице в тот момент, когда донесся гудок далекого скорого?

Истомин:

– Несчастного обнаружили только на следующий день. За сутки, сами знаете, у любого в памяти будет каша. Да еще гостиница – проходной двор. Да еще с нашим судом дураков мало связываться. Суд прямой, да судья кривой. Была бы голова, а вши найдутся. Всех мимо, а Мину в рыло. Зубами супони не натянешь. Одним словом, никто ничего не видел и не слышал. Мол, знать не знаю и ведать не ведаю.

Хор:

– Ну же!

Истомин:

– Спрашиваю горничную: милая, расскажите подробно, как вы увидели, – войдя, тяжело дыша, все-таки годы дают себя знать, как-никак убрала целый этаж, а эти все ведь норовят наследить, наплевать, испачкать, изгадить, вот и трешь, скоблишь, вылизываешь, видите, вчера ноготь сломала. А в пятом номере белье пеплом прожгли, не доглядела, так плати. В девятом полотенца недосчиталась. А то еще облюют все кругом, и ковер, и матрац,

а я одна, у меня двое крошек. Вот и крутись как знаешь. Я стучу – никого, а сердце вдруг екнуло, будто чувствовало, сразу вспомнила, как у нас два года назад один повесился, совсем еще мальчишка, сопляк. С матерью, что ли, поругался. Что-то непременно считал должным ей доказать. Оставил записку, мол, ты сама этого хотела, так на вот, получи. Повесился в комнате на крюке для люстры, а перед этим еще на столе навалил кучу. Все мстил кому-то. А кому мстил-то? Убирала-то я. Значит, мне и мстил. Значит, я чем-то ему жить не дала. Так вот все и мучаемся, так каждый каждому поперек горла и стоит – хоть вешайся!

Хор:

– И что мать?

Истомин:

– За ней, конечно, сразу послали. Хорошо, я успела со стола убрать. Ее не нашли, где-то она не дома была, а когда прибежала, сына уже увезли. И вот она мне говорит – покажите, я хочу видеть, где это было. Беру ключ, веду ее туда, открываю. Она стоит, смотрит на крюк. Все стоит и стоит. Я уж думала, ей плохо, спрашиваю – с вами все в порядке? А она только головой кивает, мол, да, спасибо, все хорошо. Потом спрашивает: ничего от него больше здесь не осталось? Нет, отвечаю, все полиция забрала, там получите. Попросите, и вам вернут. Говорю ей: вы молитесь за него, и на душе будет легче, вы, главное, знайте, что он вас любил. Он вечером вчера у меня чай попросил, слово за слово, и я его про батюшку с матушкой спросила, так он о вас так хорошо говорил, а себя все ругал, что он перед вами виноват. Вы, главное, знайте, что он вас любил, и вам легче будет. Она тут разревелась у меня на плече. Я с ней вместе и в полицию поехала. Она говорит – вы мне совсем чужая, а сейчас мне родней вас никого нет. Глажу ее по плечу и думаю, а ведь, не приведи господь, мои вырастут и такое учудят! Ее ведь в детстве тоже был ангелочком и мамочку свою любимую жалел. И вот будет она теперь жить без него. А я, если с моими что-нибудь случится – сама сдохну, не переживу, зачем дальше-то жить! Или переживу? И тоже буду завтракать, мыть полы, сахара два куска класть в стакан?

Хор:

– Да мало ли что в жизни с нами будет. Что ж об этом говорить. Вот и Мария Львовна думала ли, что вот так за здорово живешь на собственной кухне заглянет в кастрюлю – и всё. К.К., несчастный старик, рассказывал: приходит он на кухню, а жена на полу лежит, и в руке крышка от кастрюли. Пальцами так ухватилась, что разжать не мог. Ну, так открывает она дверь, и что?

Истомин:

– Стучит-стучит – никто не отзывается. Хочет открыть ключом, а с той стороны заперто и ключ в замке. И что же вы, спрашиваю, сделали? А она мне: я испугалась. Бестолковая женщина. Я не спрашиваю, милая, что там у вас внутри. Мне – какая разница? Я спрашиваю: как вы увидели то, что увидели? Вдруг, говорит, шаги. Мужчина молодой такой, статный. Красавец, одним словом. Только что от парикмахера – весь благоухает. Остановился. Спрашивает: вам помочь? А у меня все внутри к горлу поднялось, тошнит. После того случая все время, когда дверь сразу не открывают, думаю – опять! Растерялась, хотела что-то сказать, а он уже у меня взял ключ и пытается открыть. Понятно, говорит, там с другой стороны ключ в замке. Видит, у меня в отверстии передника иголка. Хвать ее – раз-два, и с той стороны что-то звякнуло. Ну вот, открывает дверь, видите, как просто. А мне ничего еще не видно, только лицо этого мужчины. Он туда, в комнату, смотрит и вдруг трясет головой. Говорит: не заходите! И лучше не смотрите. Вам не надо сюда смотреть. Идите лучше звоните в полицию!

Хор:

– Вот это наверняка самый тать и был! А как же иначе! Известное дело – их всегда потом туда тянет! Нам ли не знать этого брата! Мы уже на них собаку скушали! Небось, сво-

его же и порешил! Татем у татя украдены утята! А когда прибыли чины, этого, пахнувшего резедой и ребарборой, уже и след простыл?

Истомин:

– Разумеется.

Хор:

– А труп-то опознали?

Истомин:

– А вы как думаете?

Хор:

– Поди ж ты! В каком веке живем, а все то же: без бумажки ты букашка! Вот нас, к примеру, оставь где-нибудь в Сызрани или в Липецке без документов, придуши проводом в тихом углу – и всё, даже голову отрезать не нужно. Отпечатков пальцев наших днем с огнем нигде не сыщешь. Фоточки наши с выколотыми глазами рассылай хоть по всему свету – никто не признает. Так и останется от нас потомкам разве лишь протокол содержания желудка. Хорошо, если забьется под дырявую подкладку визитная карточка! А если не забьется? Что тогда? Нырнем инкогнито! В дырявой подкладке смотрели?

Истомин:

– Дайте хоть прожевать, господа!

Хор:

– А что вы думаете, человек может, к примеру, прочитать руками письмо в закрытом конверте?

Истомин:

– И вы были у Зимина?

Хор:

– Ходил с дочкой. Забавно все-таки. Все эти штучки с цифирью я еще как-то могу себе представить. Может, действительно натренировал память. Но вот как он читает через бумагу?

Истомин:

– Бросьте, Александр Васильевич, пустое. Старый, как мир, трюк. Первую записку пишет кто-то свой, подсадной, а конверт при этом открывается чей-нибудь еще. И так далее. Детский фокус.

Хор:

– Позвольте, мой друг, загадать вам загадку? Представьте себе дождливый слякотный день, допустим, четверг. Весна, каштаны с розовыми свечками – вот-вот зацветут. Все дорожки в парке – размазня. По жести подоконников барабанит, и лужа у крыльца каракулевая. Какой-нибудь постылый разговор с поглядыванием на застывшую стрелку часов, что, мол, толкуют, будто мороженое делают из молока, в котором купают больных в больнице. И вот к вам приходит немолодой уже человек, степенный, опрятный, аккуратный, в хорошем костюме, смущенный. Ботинки мокрые, с зонта капает. «Ради Бога, – говорит, – извините! Наследил». – «Да ничего страшного, сторож подотрет, а зонтик ваш давайте сюда, мы его вот тут раскроем, он вмиг и высохнет! Вы, простите, по какому делу?» – «Понимаете, – объясняет, – я обратился там у входа, а меня послали к вам». И пожимает плечами, как бы извиняясь, что ему приходится беспокоить. «А вы, извините, не художник? Кажется, я встречал вас где-то в Знаменском парке». – «Я учитель в Измайловском техническом училище. Преподаю черчение. А рисую так, для себя. Ничего особенного. И художником-то себя не считаю – просто иногда под настроение иду куда-нибудь на этюды. И в Знаменский парк тоже часто ходил». – «Вот дела, а у меня в Измайловском у брата жена в библиотеке работает». – «Да что вы говорите! Надежда Дмитриевна? Вот уж тесен мир! Очень рад! Весьма приятная женщина, хотя и строга. Я у нее часто книги беру, так она потом все перелистывает, чуть

ли не каждую страницу нюхает. Понимаете, я разводил краски и случайно капнул. Так она потом лютовала! С тех пор все время проверяет». – «Да вы присаживайтесь, присаживайтесь сюда к нам, хотите чаю?» И вот вы сидите и пьете с ним чай. Он печенье в стакан опускает и ждет, пока размокнет, чтобы таяло на языке. Потом вдруг как вскочит, чуть чашку не перевернул. «Господи, что со мной!» Схватился за голову и давай ходить по комнате. «Подождите, – говорит, – я должен вам сказать что-то очень важное!» – «Да что с вами?» – «Нет-нет, это очень-очень важно!» – «Человека, что ль, убили?» Остановился как вкопанный. «А откуда вы знаете?» – «Да ничего я не знаю – так просто сказал». Кивает головой: «Убил». «Да что вы вздор какой-то несете! Тоже мне убийца нашелся!» Тут забормотал что-то невнятное, что будто бы три года назад кого-то в лесу задушил и бросил в заброшенный колодец. «Дорогой вы мой! Послушайте вы нас! Давайте сделаем вот так: идите-ка вы сейчас домой, успокойтесь, выпейте что-нибудь да выпитесь хорошенько! Договорились?» Он чуть ли не обиделся: «Вы что, мне не верите? Я вам и колодец тот покажу!» «В земле черви, в воде черти, в лесу сучки, в суде крючки. Такие вот сундучки. Ну что с вами делать – вот вам бумажка, хотите, пишите, так, мол, и так, тогда-то там-то. Чем душили, с какой целью». Сел, достал свое вечное перо с золотым колпачком, задумался. А за окном – непогода, хлещет, ветер, уж смеркается. «Да послушайте вы нас: ступайте домой! Мало ли кому что в голову взбредет! Одумайтесь! Пока не поздно! Зачем вам все это? Для чего? Кому прок?» А он даже не слышит: «А как начать? На чье имя? Или можно просто так: мол, я пошел в Ильинский лес на этюды?» «Да пишите как хотите! Только спрашивается, чего ж вы три года как ни в чем не бывало, а тут вдруг приспичило?» И не слышит даже, скрипит перышком. И вот затевается дело. Туда бумага, сюда бумага. Туда отношение, сюда запрос. Нужно ехать раскапывать колодец. А кому копать? Бумага в местный полк. Только солдатики несчастные развесили свои портянки сушить – снова под дождь! А чтобы копать, нужен инструмент: лопаты, помпа – опять бумагу пиши! И вот уже столько людей вместо того, чтобы греться у печки, едут в непогоду и грязь к черту на рога в Ильинский лес. И бродят там три часа по вспухшему болоту, все мокрые, злые, того гляди еще и сам утонешь. «Дорогой вы наш, ну и где же ваш колодец, черт бы вас побрал!» Утирает капли со лба – со шляпы течет, с усов течет – прыгает по корягам, оглядывается, никак не может вспомнить. Уже собирались возвращаться – чтобы успеть из леса засветло, – тут кричит: «Да вот же! Мы все время мимо ходим! Вот же, у развилки!» И вот три дня копают. Откачивают воду и снова копают. И все время как назло моросит. И действительно, что-то там есть. За три-то года – одно зловоние да кости. Подписывают приказ – взять под арест, – а что делать? Он и сам уж не рад. У него на руках жена, ее старая мать и две дочки. Деньги все ушли на защитников. Дочек из школы пришлось забрать – платить нечем. С квартиры съехали в какой-то угол. Жена ли надоумила или защита – от всего стал отпираться. Мол, я тут ни при чем. Из тюрьмы пишет куда только можно жалобы: и кормят, видите ли, плохо, а у него язва, ему нужна диета, и соседи по камере обижают, отбирают все передачи и одежду, и вообще он ни в чем не виноват. На суде расплакался, как мальчик. Жена без детей пришла, сидела все время молча и после приговора – все уже встали, выходят – а она все сидит. Смотрит куда-то в одну точку. Ей говорят: «Извините, здесь будет сейчас другое заседание, нужно проветрить!» А она только головой качает. И все сидит. «Идите домой, у вас детки, вы им нужны, а мужу будете письма писать, посылки посылать. Вот и сейчас ему нужно что-то передать в дорогу. Там ведь, знаете, какой лютый мороз!» Вздохнула, встала и пошла. Вы поняли, друг мой, что я хотел сказать вам?

– Нет.

– Вот вы на свою скудную первую получку купили младшему брату железную дорогу, о которой он так мечтал. Вернее, это вы, милый, мечтали. Каждый раз, как шли мимо магазина на углу Хлебного и Бронной, останавливались, смотрели на эти чудесные паровозики, вагончики, стрелки, тупички. И тут сбылось. Приносите домой огромную

волшебную коробку, раскрываете ее вместе с вашим Павликом, раскладываете на полу, ползаете вместе с ним, любуетесь, как бежит по рельсам крошечный поезд. Господи, сколько же вы об этой минуте мечтали! Глядели на эти лилипутские домики за стеклом витрины, аккуратные, ладненькие, все в цветах, забирались взглядом в уютные окошки, из которых струится теплый игрушечный свет, а там еще станция, в другом домике почта, в третьем магазин, в четвертом ресторан, в пятом какая-то мастерская. Оттуда выходит на крыльцо мастер, уставший, но довольный сделанным за день, потягивается, улыбается, приветливо кричит что-то соседу, булочнику, тот в ответ тоже улыбается, и они вместе машут руками проходящему мимо поезду, а в нем пассажиры тоже улыбаются и приветливо машут в ответ. Эти деревья, домики, человечки, вагончики, казалось вам, живут какой-то своей, нездешней жизнью. В этом маленьком мире все не так. В окна проходящего поезда никто камней из кустов не бросает. Земли мало, а молока много. Начальства не ждут, а улицы чисты. По трамваям можно ставить часы. Никто не хамит. Справка какая нужна – ты им написал, они тебе прислали – ни очередей, ни писемоводителя, к которому без зелененькой не сунешься. Никто за шкуру в участок не потащит, если рожа твоя им не понравится. И хотелось хоть на миг самому стать таким же маленьким, сесть в такой же чистенький, незаплеванный поезд и уехать на такую вот чистенькую, утонувшую в цветах станцию. Так же улыбаться и махать рукой. Не страна, а ожившая витрина игрушечного магазина. Набор видовых почтовых открыток вместо пейзажа. Святая уверенность деда, что его лужайка достанется внуку. Сказочное королевство, скроенное по фасону гоголевской шинельки. И президентом у них Акакий Акакиевич – изящен, остроумен, певч. И вдруг станция скрывается, зарастает туманом – это вы надышали на стекло. Стоите в этом стекольном тумане и никак не можете понять – где вы. А потом идете дальше. И вот мечта ваша наконец сбылась. Разложили на полу рельсы – а мальчик-то, братец-то ваш как счастлив! И как он вас любит! Никто вас, милый, не любит, а он любит. И в гимназии вас не любили, и в университете. И здесь вы никем не любимы. А для мальчика вы – настоящий герой. Он вами гордится. Несмотря ни на что. Все вам прощает, все обиды, все унижения. Потому что это и есть любовь – уметь все прощать. Вот он уже и забыл давно, как в первый свой школьный день он пришел на перемене к вам в класс, разыскал вас на третьем этаже, пришел погордиться, вот, мол, у меня какой есть Слава! А ваши однокашники-недоноски, прокуренные, прыщавые, сквернословящие, поймали его, скрутили и подвесили на школьной доске, зацепив ремнем за гвоздь, на который вывешивали карты. И вот он плачет, зовет вас, зная, что вы сейчас придете ему на помощь, спасете, отомстите. Все хохочут, как он там висит. Вы бросились было туда, к нему, к вашему Павлику, но что-то вас остановило, не страх, нет, но, скажем так, инстинкт самосохранения, ибо досталось бы, как обычно, и вам. И вот вы стали смеяться вместе со всеми. Потому что действительно смешно. Висит и ручками-ножками болтает. Потом гвоздь поддался, ремень соскочил, Павлик грохнулся о паркет и убежал, ковыляя. И это он тоже вам простил. Даже и не помнит. Вы помните, а он нет. И вот мальчик смотрит с вожделением на ваш чемоданчик с пинцетами, ножницами, приспособлениями для снятия отпечатков пальцев, пузырьками для сбора образцов. Хвастается в школе, что его старший брат ловит настоящих преступников, расследует дела, о которых пишут в газетах, объясняет на перемене однокашникам, что осмотр подложного документа невозможен без цейсовской или бушевской лупы, измерение нажимов в дереве или металла – без кронциркуля, пальцевых отпечатков на белой бумаге – без графитного порошка, следов на снегу без парижского гипса. И вам, может быть, он – важнее всех. Никому ничего не рассказываете, а с ним делитесь. И уж он-то, разумеется, тоже хочет стать как брат. Во всем вам подражает, поднимает гири по утрам, терпеть не может пенек на молоке, чистит обгрызенной спичкой расческу. И вы его, единственного, пускаете в свою жизнь, в свою коллекцию, в свой музей улик, в свою книгу вещей, где каждая, как в сказке, умеет

разговаривать, мешает злым и помогает добрым. В великосветской гостиной, учите вы его за чаем с копеечной баранкой, будем примечать оттенки желтизны нежных кружев, этих лепестков *point de Bruxelles* или *point de Maligne*⁷. В дымной избе или на грязном постоялом дворе остановим наше внимание на засиженных мухами картинках московского печатного станка, на том, как между бревнами проложена пакля, на архитектурных принципах русской пятистенки, малороссийской хаты, кавказской сакли. Ожидая поезда на каком-нибудь полустанке, вслушаемся в работу телеграфа, вступим в беседу с телеграфистом – этой ходячей азбукой Морзе, ознакомимся с техникой жезловой системы, всмотримся, как и для какой цели под рельсы подкладываются подкладки. Попытаемся далее разобраться в марках фарфора, отдадим себе отчет в значении подглазурной звездочки на саксонской тарелке, от гравюры Уткина и Bertalozzi попробуем найти переход к ультрафиолетовым лучам и кварцевому объективу, от изучения почтовых штемпелей перейдем к изучению обуха велижского топора или производству какого-нибудь новомодного кубиста. Бродя без цели, допустим, по Знаменскому парку, при желании всегда можно поставить себе цель. Вот, смотри, Павлик, дорожка. На песке – поперек – замечаем след пары мужских ботинок. Можно пройти мимо, а можно задуматься, приглядеться. Доктор Гюсе приводит даже такой пример совершенства в распознавании следов среди племени индейцев сиу: они узнавали своих родных по следу так, как мы узнаем своих по физиономии или по фотографической карточке. Если эта отрасль поддается до совершенства людям низшей культуры, то, нет сомнения, тем лучше должен усвоить ее опытный и внимательный полицейский чин. Чего стоит только длина шага – мерить нужно вот так, от каблука до каблука той же ноги. Вот мы уже можем примерно определить рост и возраст. Сразу видно, что мужчина степенный, средних лет, никуда не спешил, прогуливался, глядел, как ветки лезут из тумана. Если, к примеру, калека или с раненой ногой – шаг одной ноги будет длиннее другой. У пьяных отпечатки от ног получаются неравномерные: то велик, то мал, то уклоняются в разные стороны, то топчутся на месте. Привыкшие носить тяжести ходят раздвинутым шагом, вдобавок их походка будет развалистая и след мало раздвинут, точно так же ходят впотьмах, как бы с опаской. Военные, особенно еще не привыкшие к шашке, при ходьбе отставляют левую ногу и обращают ее носком внутрь. Больные люди, после тяжелой болезни, ступают не всей подошвой ноги, а только ее частью, вот как здесь. Видно, вышел недавно из больницы и вот прогуливался, втягивал носом осенние свежие запахи, прислушивался к ветру, к шороху ветвей, смотрел, как падают, шаркая, на дорожку листья, и думал: вот только что совсем доходил, сам просил Бога, чтобы тот дал ему поскорее сдохнуть, так неумоги были эти приступы в почках, а теперь снова так приятно и легко жить, ходить, дышать, нюхать. И ничего больше, кроме этой минуты, не нужно. Так бы стоять и смотреть на этот листопад до самого Страшного суда. А там будь что будет, пусть судят. Но всматриваемся ближе и видим, что первый след имеет налет второго – однородного следа, идущего в том же направлении и несколько выступающего из-за границ первого. Наклоняемся ниже и замечаем, что отпечаток второго следа наиболее резок около каблуков, причем в этом месте песок не столько вдавлен, сколько приподнят кверху. Это дает возможность сделать вывод, что человек, стоявший здесь, должен был несколько отклонить свой корпус. Ноги проскользнули вперед и оставили отпечаток второго следа. Но естественно, что в таком положении человек не может оставаться без упора сзади. И действительно, несколько мгновений внимательного осмотра позволяют обнаружить в дерне позади отмеченного следа и в восьми вершках от него отверстие. Отверстие это имеет не перпендикулярное, а косое направление в сторону дорожки. В полутора аршинах от следа мы обнаруживаем на песке окурки и несколько обожженных спичек. Кроме того, в двух шагах от этого первого

⁷ Брюссельские кружева, малинские кружева (*фр.*).

следа мы усматриваем встречный след. На небольшом пространстве дорожки встречный след в разных направлениях отпечатался несколько раз. Затем первый след сворачивает по дорожке направо, а встречный налево. Итак, делаем вывод, здесь встретились два знакомых господина, у одного была палка для ходьбы – вступив в беседу со вторым, он поставил палку позади себя и оперся об нее. Завязался разговор. Первый рассказывал, а второй слушал. Первый закурил папиросу – папироса несколько раз потухала. Потом они разошлись в разные стороны и через несколько лет умерли. Человек летуч и непредсказуем, потому особое внимание нужно уделить сохранению следов. Если следы могут подвергнуться порче, то их следует покрыть бумагой, доской, ящиком, горшком, ведром или другим каким предметом, сообразуясь на месте. Чтобы сохранить след на глинистой или рассыпчатой почве, этот участок обливается столярным клеем. Чтобы сохранить следы на снегу от таяния, нужно покрыть их ящиком или горшком, а последние, в свою очередь, забросать сверху снегом. Батюшка покров, покрой землю снежком, меня, молодую, женишком! Воспроизвести след, сделать с него слепок можно при помощи гипса, алебастра, стекольной замазки, воска, сала, парафина и мягкого хлеба. В гипс не забудьте воткнуть лучинки, чтобы слепок не сломался. Если след покрыт водою, возьмите мучное сито и, держа его над водою, смело сыпьте через него гипсовый порошок до тех пор, пока след не покроется совершенно, и тогда в кругу набежавших мальчишек, затаивших дыхание от восхищения, вынимайте через полчаса готовый оттиск. Для получения отпечатка следа, оставленного на сухой или очень твердой почве, смажьте сперва отпечаток слегка маслом и покройте раскаленной докрасна жестью. Когда земля достаточно нагреется, залейте след расплавленным стеарином, который и даст по охлаждению точную форму нужной вам подметки. Если же след на снегу, то вместо стеарина берут в этом случае, разумеется, раствор желатина. А что касается подглазурной звездочки, то вот вспоминаю одну защиту в Херсоне, я еще вдовствовал по моей Ларисе Сергеевне. Ох уж эти поезда, везущие на юг весной тысячи больных, с бархатной бежевой обивкой, кишасей бактериями! Сколько раз твердили миру: нужно ехать к башкирам и выпивать по ведру кумыса в день. Так нет же, упорно везут свои палочки Коха в Крым. Все попытки ввести в поездах южного направления поливание пола в вагоне раствором борной кислоты и сулемы и совершенно воспретить употребление карболовой кислоты, невыносимый запах которой, смешиваясь с душным, спертным воздухом вагона, приводит пассажиров в отчаяние, так ни к чему и не привели. По-прежнему вздымаются сухими вениками клубы пыли, загоняя бацилл в легочные мешки. Передышку приносит с собой лишь ночь. Вот темная станция, фонарь сцепщика, ползают взад-вперед маневровые паровозы, ночные, мохнатые от пара звери, то и дело резко повизгивают, будто их кто-то кусает, какие-нибудь паровозные кровопийцы. Локомотив сосет воду и все никак не может отдышаться. Далекие паровозы прочищают внутренности. Гудок, и вот едем дальше. Ромбы света из окон скользят по откосам. Искры летят в черном воздухе. Не успели отъехать – снова остановка. Слышны звуки сортировочной станции. Рожок стрелочника. Ему ответ машиниста, одинокий, грустный. Цепочкой прозвенели буфера сцепляемых вагонов. Несколько минут тишины. Потом снова рожок стрелочника, уже издали. Двусложные семафоры подмигивают из темноты, с одной стороны станции хореи, с другой ямбы. А на следующее утро туман. Приклеился белый клочок к окну – и поди что-нибудь разгляди. Новые соседи-персы грызутся и все время повторяют по-русски – туман. Кондуктор с зубами веером удивляется, бурчит: «И дался им наш туман! Никогда тумана, что ль, не видели?» Задремал, даже не заметил, где сошли. На третьи сутки новый сосед – немец, инженер, служит у Нобеля в Баку. Он сразу улегся спать и всю ночь храпел, несмотря на мой кашель, хлопки в ладони и прочие бесполезные попытки разбудить его. Духота, истошные крики паровоза, немецкий храп, тусклый свет двух ночников гнали сон, и я всю ночь не сомкнул глаз. Все казалось странным, и даже не верилось, что это именно я еду Бог знает где и куда. В

семь утра рассвело. Немец все еще не проснулся. Я смотрю в окно на болота и поля, мокрые от дождя, в который мы только что въехали. Поезд замедляет ход, мы почти ползем мимо мокрого стада. Озябший босоногий пастушок, набросив на голову какую-то рогожку, следит глазами за поездом. Я смотрю мальчику в лицо и приветливо машу рукой. Он видит меня, но не отвечает. Потом вдруг грозит мне кулаком. Хотелось бы знать, вспомнит ли он когда-нибудь того путешественника, который махал ему рукой с поезда, как я вспоминаю теперь о нем. Так забраться бы в чье-то воспоминание и сидеть там в тепле и уюте – меня уже и след давно простыл, а там, в чьей-то памяти я, как мартышка, буду повторять раз заученный номер, может быть, именно этот – какой-то седой чудак приветливо машет с поезда. И так будет махать вам до окончания ваших веков. С вокзала меня отвезли в гостиницу Волковой. Номер у меня вполне приличный, даже с чистым рукомойником, а когда нажимаешь на педаль, то течет вода. Надеваю свежую сорочку, собираюсь вниз по лестнице и вдруг замечая, что на рукаве пиджака снова проступили мерзкие стеариновые пятна. Ночью в купе на мой пиджак капало со свечи. Это открытие я сделал слишком поздно, когда мне в рукав ткнул пальцем проснувшийся немец. Я всеми силами старался соскрести стеарин и ножом, и ногтями. Немец был страшно доволен, что повесил свою куртку у другого, исправного фонаря. “Ich lebe schon seit acht Jahren in Russland, – сказал он самодовольно. – Hier muss man immer auf der Hut sein!”⁸ Мне кто-то попался из поездной прислуги. Я думал, что он принесет горячий утюг или какую-нибудь жидкость для выведения пятен, но эта шельма принялась быстро тереть мой пиджак своим рукавом. Через какое-то время стеарин стал исчезать, и скоро белая дорожка вовсе пропала. Я дал ему на радостях рубль – для того лишь, чтобы через час снова обнаружить эти пятна у меня на рукаве! А в Херсонском пансионе Волковой на Воздвиженской, их лучшим заведении, вы и сами, небось, бывали. Мокрицы в умывальнике, клопы в постели, моль порхает по комнате. Нельзя выключать свет – полезут отовсюду рыжие прусаки. То комната не прибрана, то письмо забыли отнести, чай холоден, на звонок никто не является. Занавески липкие. В неровном зеркале лицо пузырится, переливается по амальгаме, как желе по тарелке. То некто высоколобый глядит на вас, то пучеглазый татарин. Ненавижу пансионную жизнь по звонку – сидишь каждый день с людьми, которые не обязательно приятны, не можешь принять никого, чтоб весь отель не знал, кто и зачем, или попросту захворать расстройством желудка, чтоб соседи не заметили. И повсюду душит аромат красной мастики – натирают пол. А ночью опять не спится. Лежишь и смотришь за окно, а там плавает в тумане какой-то обмылок, то ли луна, то ли часы на вокзальной башне. В первое заседание – присяга. Духота, окна настезь, а там железная дорога, самые пути, каждые пять минут ложка в пустом стакане на столе начинает биться в эпилепсии, а ветка за окном – качаться, считая вагоны. Когда проходит внизу поезд, в зале ничего не слышно, да еще почему-то именно здесь машинисты любят давать гудок, и никто не остановится, чтобы переждать шум, все говорят, говорят, говорят. Господа судьи, вам хорошо известно, что русская жизнь – автор с причудливой фантазией, поэтому мы так поразительно лишены способности удивляться. Каверзный вопрос – *quid est veritas?*⁹ – а в переводе на язык, доступный нашим простофилям со скамьи присяжных, – где же правда? – до сих пор ставит в тупик не только г-на Громницкого, позволившего себе более чем странный тон в адрес священных коров нашего судоговорения, но даже коллегии второй и третьей инстанции. Что же говорить о нас, грешных. Не каждый ли день слышим мы: обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, пред Святым Его Евангелием и животворящим крестом, что, не увлекаясь ни дружбою, ни родством, ни ожиданием выгод или иными какими-либо видами, не норовя ни на какую сторону, ни для вражды и корысти

⁸ Я живу в России уже восемь лет. Здесь все время нужно быть начеку! (нем.)

⁹ Что есть истина? (лат.)

ниже страха ради сильных лиц, я по совести покажу в сем деле сущую о всем правду и не утаю ничего мне известного, памятуя, что я во всем этом должен буду дать ответ перед законом и пред Богом на Страшном суде Его. В чем да поможет мне Господь душевно и телесно в сем и будущем веке. В удостоверение же сей своей клятвы целую слова и Крест Спасителя моего. Чмок. А знаете ли, г-н Громницкий, что делают черемисы для того, чтобы присяга потеряла свое значение? Они поднимают кверху правую руку и прижимают к ладони четыре пальца, выпрямляя один указательный, в то же время левую руку они тянут вниз, сжав кулак и опять выпрямив указательный. По их глубокому убеждению, читаемая присяга входит в присягающего через поднятый палец и выходит через вытянутый палец другой руки в землю – вроде громоотвода. Поэтому на выездной сессии приходится зорко следить за этим братом и заставлять их держать при присяге левую руку развернутой ладонью на груди. А знаете почему? Да потому, что мир так набит истиной, что вот-вот лопнет по швам: дважды два, тридцать шесть и шесть, в начале было слово, окончательный и не подлежит, под рыбу – белое, всюду жизнь, что русскому здорово, то немцу смерть, таракан не муха, не возмутит брюха, в кишках было найдено свойственное им содержимое, лежа в кибитке, мысли мои обращены были в неизмеримость мира, Грушницкий – юнкер. Да и нашим ли домотканым присяжным, которым теперь благодаря Периклу выдают по 3 оболы (18 коп. ассигнациями), рабам в тридцатом поколении, искренне не имеющим никакого понятия о человеческом достоинстве, секущим и секомым, воруящим и обворованным, с младых ногтей умеющим ненавидеть ближнего и жертвовать собой за монструозное отечество, убивающее сегодня каракалпаков, завтра чеченцев, послезавтра поляков, на следующей неделе жидов, а там опять расплодившихся каракалпаков, этим ли избранникам общества, зараженного неизлечимым недугом мздоимства и казнокрадства, этим ли немытым заложникам чести решать задаваемый господином председателем в этом зале, где ломаются судьбы, а за окном, вы только посмотрите, дворовые девчонки ругаются и показывают друг другу фигу из-под задранной ноги, вопрос – что есть истина? Знали бы вы только, как пытаются присяжные отбояриться от этого вопроса: достают справки о существующих и еще не известных науке болезнях, о командировках, о реальных и мнимых свадьбах и похоронах, да и ни для кого не секрет, что за мелкие взятки письмоводитель всегда готов перевести вас из очередного списка в запасной. А уж если не удалось отвертеться, то еще хуже для судоправия. Сперва они оправдывают явных убийц, боясь мести дружков, да и как не бояться, если не за себя, так за детей, чего доброго еще отрежут пальцы ребенку, как это было с моим двоюродным братом – его сыну оторвали кусачками два пальца на руке, – а потом, на следующий день почтенные присяжные упекают в тюрьму на полный срок несчастного, попавшегося на какой-то мелочи, успокаивая совесть. Широкие, просвещенные, великодушные, они с умиленным сердцем подают голос за оправдание убийцы чужой сестры, матери, дочери и любое наказание находят чрезмерно мягким, когда у них самих украдут пальто. Присяжные крестьяне безжалостны к конокрадам, купцы чересчур снисходительны к злосчастным банкротам, обвинительный вердикт не получите от людей, занимающихся общественными науками и привыкших вдумываться в причинную связь социальных явлений. Давно отмечено: самый строгий ко всем преступникам тот состав, в котором господствуют учителя средних учебных заведений – поверенные теперь систематически отводят их, а при невозможности сорвать дело, выжидая нового состава присяжных, в котором учителя не представляли бы видной величины. Опытный секретарь всегда может по желанию, изучив списки присяжных, направить любое дело на обвинение или на оправдание. Да вы сами посмотрите на гализю – это же олицетворенное невежество, робость, наутюженная придурковатость, а главное, пристрастность, то рабская, то задорная. Или вот еще блюдо для вас, гурманы права! Судили у нас в окружном красотку, обвиняемую в подстрекательстве дяди на убийство племянника, она приходит

в суд с распущенными кудрями, в розовом с декольте, благоухающая, нездешняя. И что же? Результат: все заседатели как один проголосовали – оправдать. Все заседательницы – признать виновной. Вот вам и торжество половой юриспруденции! Вот вам и высшая справедливость, что не может подняться выше гениталий! Приглашенный в качестве эксперта уважаемый профессор еще даст, не сомневаюсь, свою оценку происшедшему, но в кулуарах, где в холодном воздухе казенной комнаты висит тусклый туман, уже были произнесены эти роковые слова – *raptus melancholicus*¹⁰. Физическую измену женщина простит, духовную – никогда. Переспал с редкозубой дурехой, у которой грудь как диванный валик, а в голове завиральные идеи, вроде что вдруг мы, мол, лишь герои какой-то странной книги, и вы, и я, и вот тот мальчик, которого я увидел вчера случайно в окно одного дома, проходя по улице, он разбросал книги по полу и ходил по ним, как по льдинам, так вот: подобная измена – это беспорядок, это неопратно, это скорее вызовет лишь временную гадливость и осторожность. Но когда женщина чувствует, что любимому человеку забираются в душу, когда его от нее хотят отнять, тогда закричит: «Караул! Грабят!» Да у кого из нас не закружится голова, если женщина курит нам фимиам, ставит нас на пьедестал, целует наши руки и ноги, хотя бы и в письмах, от которых пахнет духами даже после лежания в судебном архиве, недаром же утверждают, что только романы горничных обходятся без любовных писем. Маком по белой земле посеяно, далеко вожено, а куда пришло, там взошло. Слова-то в письме обыкновенные, холодные, а промежутки между ними горячие. А вот еще перл из писульки – вся твоя со всей своей утробой. И не запомнили ли вы, любезные гализйцы, заглянуть в ее женское, скрытое от ваших похотливых глазок-клякс прошлое? Не найдутся ли там, в нежной юности, ростки пожинаемых нами в этот послеобеденный час на столе вещественных доказательств плодов, не ощущаете ли на нежной девичьей коже с прозрачными детскими волосками и гусиными пупырышками «отцовские» ласки отчима, который стал заглядываться на дочь жены от первого брака, пока, надравшись как свинья, не попал под поезд – машинист его даже не заметил, и всю ночь пировали на рузаевском переезде собаки с городской свалки. Но даже если не копаться, милые мои, в несвежем белье, а там сами знаете, как стирать и сушить, если в камере битком и на окне намордник, так что видны только шесть полосок неба цвета селедки, даже если простить ей, как с соседским Мишкой в четыре года пряталась за поленницу и поднимала подол за конфету, даже в этом случае неизменным остается одно – преступления по страсти всегда будут *en vogue*¹¹. Любовь – сказал вринуемый в темницу и снесь скуке – есть чувство, природою в нас впечатленное. Человек не целый день бывает человеком. Плоть похотствует на духа, дух же на плоть. *Non vitias hominis*¹². Вы хотите судить грех, а судите всего-навсего женщину. Рыжий прошлогодний лист наколот на острый каблук. Глаза медленны и прохладны. Впереди себя пускает запах дорогих духов. Входит в жизнь, не стучась. Накрасит губы, прикусит ими салфетку. Закидывает ногу на ногу с легким посвистом чулок. Переживает, что нарядилась не той помадой. Дыхание чуть отдает шампанским. Облизывает слипшиеся от рахат-лукума пальцы. Соблазнительность надежд и обманчивость ожиданий. Мария Антуанетта, когда пришли за ней, чтобы вести на казнь, приделалась и даже приколола себе цветок – вот женщина и ее привычки. Вдовы и любящие матери, собираясь идти за гробом, шьют элегантное траурное платье и не пойдут в стоптанных башмаках – это не говорит ни о бесчувственности, ни о силе горя. Ибо, создавая человека, Бог взял от земли тело, от камня кость, от моря кровь, от солнца глаза, от облака мысли, от ветра дыхание, от света свет – прииде же окаянный и измаза его

¹⁰ Исступление, импульсивное действие в виде приступов (*лат.*).

¹¹ В моде (*фр.*).

¹² Не вина человека (*лат.*).

калом, тиною и възгрями. Да что тут говорить! Ведь сказано: веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Господь приведет тебя на суд. Сергей Антонович, голубчик, не обессудьте, зачитайте, что там в обвинительном? Год, месяц, число, адресат, с красной строки, такой-то, тогда-то, там-то назвал меня подонком, обесчестившим его несовершеннолетнюю дочь, с намерением нанести мне оскорбление, почему прошу Ваше Высокородие привлечь такого-то, жительствоющего там-то, на такой-то улице, навощенной с утра солнцем, к ответственности по обвинению его по 1178 ст. Уставов о Наказаниях. В подтверждение справедливости моей жалобы прошу допросить свидетелей таких-то, жительствоющих там же, в том числе молодого женского доктора, высокого и тонкого брюнета, засуженного лет десять назад по обвинению одной печальной и молчаливой дамы с глазами испуганной лани в том, что он якобы дефлорировал при осмотре ее дочку, а на самом деле все там такое нежное и ранимое, все эти лоскутки и перепонки, бахромки и гребеночки – просто расправлял слипшиеся мочки костяной палочкой, а девочка дернулась, вот случайно и произошло, а де Грааф, автор одноименного пузырька, вообще отрицал наличие гимена. Есмь и проч. Год, месяц, число, подпись. Нет-нет, извините, что-то не то, а, вот, нашел. Начался март, всюду лежали кучи грязного срубленного льда, еще не вывезенного, а в центре не было и помину о зиме. Злодей с крепкими коренными зубами и с подавшимся назад мозгом, с губами, обещавшими сухость чувств и упрямство, схватился за роковой нож, кривой, будто скобочка, перерезал жертве шею от уха до уха прямо по адамову яблоку – скажешь У – опускается, скажешь И – поднимается, снял сапоги, натянул их на себя, пришлось в самую пору, затем спустил с трупа штаны и потащил этого санкюлота, след прямой – значит, тащили вдвоем, если бы один – труп болтался бы в разные стороны, потом из-за отсутствия воды вымыл руки мочой, а когда вернулся на то самое место, поразился глазам, выскочившим из орбит, потрогал мозг, по Аристотелю, орган для охлаждения крови, и вот тогда-то и выглянул из-за тучи месяц, закрыв собою скобки. А до этого сперва хладнокровно явился на кухню, поздоровался с кухаркой – как живешь, Матреша, – выбрал самый большой утюг и удалился к той, с которой соединялся в потемках. Встаньте рядом с этим человеком! Он был с этой женщиной в церкви, его связали с ней молитвы и благословение. Кругом горели свечи, его окружала семья, он принимал эту женщину от Бога. Однако известно, какие качества требуются певице хора – молодость и отсутствие брезгливости. Для мелкой самолюбивой души нет более острой, более прямой обиды, чем холодное презрительное равнодушие женщины, которая была рабыней, а нынче вдруг стала унижительно недоступной. И вот она, загораживая того, кого на самом деле любила, умоляла: если хочешь стрелять – стреляй в меня, но только, пожалуйста, не в лицо! Рука, отброшенная выстрелом. Ружье – пистонное, охотничье, фабрики Lebeda в Праге – досталось от дяди, а тот в свою очередь, согласно семейной легенде, получил его от самого Ивана Сергеевича Тургенева. Три огнестрельных ранения – два в левую грудную железу и одно в левую сторону грудной клетки – при наличии лишь одного выстрела могут только у нашего закосневшего и ленивого умом присяжного вызвать недоумение. Объясняю: поверженная была без лифчика, грудь обвисла, пуля пробила ее насквозь – вот вам уже два отверстия, затем пуля вошла в грудную клетку – вот вам третье. Дымок выстрела рассеялся, раненая в агонии, перед глазами страдальческий миг уходящей жизни. Убил, точно положил на бильярде шар в лузу. Вот она сидит перед нами, ерзая на стуле с гвоздиком. Она – женщина. Она – живая. И если сказал Господь: нехорошо быть человеку одному, то женщине одной быть невозможно. И что есть душа, если не железа, выделяющая в виде секрции, знакомой еще грекам, потребность в любви. Ибо Гомер и корабли, все движется. О том же твердят св. Игнатий, апологеты Афинагор и Минуций Феликс, Ориген, св. Мефодий Тарский, не говоря уже о св.

Киприане. См. также Movers: “Ueber d. Relig. d. Phoeniz”¹³. S. 684–685. Сами знаете: Naturae non imperatur nisi parendo¹⁴. Минуточку, Сергей Антонович, я что-то не совсем понимаю. Какой шар? В какую лузу? Вот же они все сидят на скамье! Вот почтенный патрон, муж благоверен и нищелюб, с ноющей во время приступов простатита мошонкой, сплевывает чайнку с губы, кусает нервно рыжие волосы на корявых пальцах, все никак не привыкнет к своей новой роли обвиняемого, мол, как же так, всю жизнь стоял по ту сторону барьера, а теперь сиди тут и помалкивай. Вот его жена с маской из тонко нарезанных огурцов на лице, отросший ежик на бритых икрах, льняные волосы, травленные кислотой, вскочили шишки на венах, складки на животе после неудачных родов отливают перламутром, этакая зрелая оливка. Вот его помощник, юный и отлюбивший, сам заштопывал утром прореху в брюках, что протерлась между ног, честолюбивый левша, надел на пальцы колпачки от аптечных пузырьков и барабанит, разуверившийся и с ожесточенным сердцем, кого-то мне напоминает, а отец его с Ильей Андреевичем были однокашники, так сказать, друг семьи. Вот что, голубчик, Сергей Антонович, у вас глаза молодые, почитайте повнимательнее еще раз, что там написано! Да что же я, право дело, Константин Михайлович, придумывать, что ли, буду? Что здесь в обвинительном мне дали, то я и читаю, вот, цитирую: «И приспе осень. Искони же ненавяди добра роду человеку, супостат диавол, иже непрестанно рыщет, ища погибели человеческия, всели неприязненного летящего змиа к жене на блуд. Змии же неприязнивыи осиле над нею». Смотрит на себя в зеркало и думает о чем-то. А за стеной самураи скрутили юноше руки, и вот-вот голова с плеч. А она водит ваткой по лицу, снимая крем, и думает: это ведь она тот юноша, это ведь ей скрутили руки, это ведь ее голове недолго держаться на этих еще молодых полных плечах. Бе же жена добровеждна, големоока велми и, яки снег, бела, чюдного домышления, зеленою красотою лепа, ягодами румяна, червлена губами, очи имеа черны великы, светлостию блистаяся, бровми союзна, телом изобилна, млечною белостию облиянна. А у Ильи Андреевича новый помощник. Извините, Ольга Вениаминовна, я не видел, что вы здесь, Илья Андреевич просил взять решения Сената за последний год. Входите, входите, Александр, я, кстати, давно хотела вас о чем-то спросить. Спрашивайте. Пустое, неважно, посмотрите лучше в это окно: какое роскошное дерево на красном небе – как треснувший закат. Зима началась за вокзалом, на дальних путях, засыпав снегом мертвые, разбитые вагоны. Поправляя бутоньерку с живой орхидеей на вечернем платье: я устала и умираю здесь со скуки, Александр, отвезите меня домой. Все тает, автомобиль скользит по мокрой каше, выхватывая фарами из тьмы заборы и афишные тумбы. Отпустила шофера: я хочу пройтись. В снегу ямки от каблучков заплывают водой. Дает ему ключ. Отоприте двери! Когда я поздно возвращаюсь домой, я не люблю тревожить прислугу – ночь принадлежит им, и я не считаю себя вправе их беспокоить. Отпер и вошел вслед за ней. Будто перестала его замечать, сбросила на пол шубу, прошла в комнаты. Не знал, уходить или оставаться. В открытую дверь было видно, как села у зеркала и стала вынимать из ушей серьги. Он же на ню зря очима своима и на красоту лица ея велми прилежно, и разжигался к ней плотию своею и глаголаша к ней: спокойной ночи, Ольга Вениаминовна, я пойду – к приезду Ильи Андреевича еще нужно подготовить кое-какие выписки. Молчит. Чайные розы в вазе бесстыже раздвинули лепестки. Помогите! Подошел, расстегнул ей сзади платье. Боже, как можно быть таким неловким! Волю мою сотвори, вождеделение душа моеа утеши и подай же ми твоеа доброты насладитися. Доволна бо есмь твоеа похоти. Не могу бо терпети красоты твоеа, без ума погубляемы. Да и сердечный пламень престанеть, пожигаа мя, аз же отраду прииму помыслу моему, и почию от страсти! Прошла через всю комнату к гардеробу, будто никого, кроме

¹³ Муверс «О религии Финикии» (нем.).

¹⁴ Природу иначе не победить, как ей повинуюсь (лат.).

нее, здесь нет, сняла платье, стащив его через голову, как кожуру, вынула из гардероба вешалку, повесила, долго расправляла. И нуждением любовным того объемлющи, и на свою похоть нудящи. Вернулась к трюмо, вынула шпильки, потрянула несколько раз головой, расправила пальцами рассыпавшиеся по плечам и спине волосы. Еще походила по комнате, поглаживая себя по бедрам и будто о чем-то задумавшись, все не замечая его. Села на кровать и стала снимать чулки. Легкий треск и облачко пыли. И уязвися видением, очи лакоме и некасаемых касахуся. И разгореся желанием на ню. Протерла ему влажной салфеткой. Шепнула в ухо: только, миленький, не в меня! Утром солнечный нож прорезал щель между гардинами. Александр Васильевич съехал вниз по перилам, посвистывая. В городе было беспокойно, готовились забастовки, происходили патриотические манифестации, в Божьем храме молились о ниспослании на враги победы и одоления. Илья Андреевич ходил шаркая, будто размазывал по паркету подошвы, и часто уезжал по делам, снегопад приглушал грохот колес, ногти в дороге всегда росли быстрее, на ночной станции будил маневровый паровоз-горлопан, в доме, мелькнувшем за бессонным окном, ели воздушный пирог с клубникой – всегда на следующий день после сливочного мороженого, чтобы не пропадали белки. Утром в отсутствие патрона помощник приходил разбирать корреспонденцию, разгребая груды тусклых слов. И егда пришед юноша, жена его виде и диаволом подстрекаема, радостно сретает его и всяким ласканием приветствоваше его и лобызаше. Подошла сзади, тихо перебирая домашними матерчатыми туфлями, подбитыми зайцем. Шуршит атласное кимоно, наброшенное на голое тело. Распахнула, обхватила, запахнула полами, прижала к себе, втиснула его затылок между тяжелых грудей. Юноша же уловлен бысть лестию женскою, паче же диаволом, паки запинается в сети блуда с проклятою оною женою и ниже праздников, ниже воскресения день помняще, ни страха Божия имеюще, понеже ненасытно безпрестанно с нею в кале блуда, яки свиния, валяся. Господи, Сашенька, какая прелесть – у тебя веснушки по всему телу, везде, везде. По ночам на улицах раздавались выстрелы. Неудачная война питала смуту. В загородных поселках поджигали дачи. В коридоре посвист голой пятки о паркет, мастика с охром, легкий мужицкий пот. Перевернулась на живот, уперлась локтями – груди придавили подушку: Ты знаешь, Александр, ведь это просто неправильный перевод: и Дух Божий носился над водою. Вода – это образ непросветленной материи, те, кого еще не коснулось, если хочешь – мы с тобой. А то, что он носился, то здесь неточно перевели, в оригинале – высиживал, как наседка своих будущих цыплят. Согревал. Понимаешь, он где-то здесь, над нами, греет нас, ждет, готовится, не бросает. На ковре – пролысинка – дорожка из угла в угол комнаты. Скинула с дивана подушки на эту тропинку, уселась на них. Тело, прохладное, мягкое, белое, будто творожное. Царапала его ногтями на ногах. У нее закатывались глаза так, что был виден только белок без зрачка. Пот в ямке между грудей проступал ижицей. Садилась голая в кресло – остыть. Расставляла ноги. Мокро сияют бедра. Свалявшееся, ссохшееся, как от клея. В трамвае говорили о погромах. Илья Андреевич спал после обеда – вышел всклокоченный, с красными глазами, правая щека горела – с узором жесткой диванной подушки. Отступление развивалось. Армия бежала, бросая артиллерию, провиант и раненых. Дезертиры укрывались в зарослях гаоляна. В страсти блуда упражняшася. Сверкают начищенные вьюшки на печке. Надкусывает конфеты – полоски от зубов. Пудрится – обмахнула нос лебяжьей пуховкой. Он смотрит, как она расчесывает волосы, начиная с концов и постепенно переходя выше. Поцелуй – со вкусом зубного эликсира. Настоящая саламандра, Саша, любит тепло. Приносит ему на подносе печеное яблоко, утонувшее в горке сахарной пудры, бокал, выдутый по груше. Между зубов – маковое зерно, взяла из стола мужа гусиную зубочистку. Погода странная и зима дурная. Весь снег почти сошел, и вот на Крещение все замерзло и обледенело, так что вся земля покрылась льдом и казалась рекою, чего давно не было. Обледенели все деревья, так что ветки пригнуло и сучья переломало. Приложился к душистой руке, обтянутой

ажурной розовой митенкой. Любила найти у него прыщик и выдавить, выдавливала и черные поры у носа. Иногда брала фруктовый ножик из вазы и вычищала ему грязь из-под ногтей. Смотри, у тебя кончики пальцев – лопаточками, а по хиромантии – это творческое начало. Мне иногда кажется, Саша, что я – какое-то животное в цирке. Занавеска то надувается сквозняком, то опадает, по ней скользит тень от перекрестия рам. Растянутые от сereг мочки. Скажи, Сашенька, ты меня хоть немножечко любишь? И в таком ненасытном блуждении многое время яко скот пребывая. Это ты? А я тут зачиталась. Говорю себе всякий раз: не бери книг в библиотеке! Или засалют все так, что невозможно в руки взять, или изрисуют непотребствами. А эту вроде пролистала – чистенько. Ладно, думаю, возьму. Так здесь кто-то на каждой странице поставил по точке под буквой – если только эти отмеченные буквы читать, такое получится! Подвязала пояском матинэ, ушла в душ, заложив книжку рецептом. Открыл, прочел очеркнутое ногтем по полю: ибо она любит то, что ниже жизни, потому что любит тело, и притом – тело, по причине греха, телом любимого поврежденное, так что измождаемо оно оставляет того, кто его любит. Приходил муж, имея у себя жену, девою поятую суцу. Брошенный на паркет портфель лязгал подковками. Илья Андреевич ел много и жадно, то и дело целуя салфетку. Грыз яблоки с озорным сочным хрустом, откусывая сразу половину, так что выскакивали черные семечки. Пообедав, каждый раз говорил: Лжедмитрия, Александр Васильевич, потому и разоблачили, что он не спал после обеда, как положено русскому человеку! Шутил про себя: я сладострастник – и набрасывал в чай полстакана сахара. Зевнула, быстрым крестиком зашив рот. Говорили пошептом, что во время бывшей необыкновенной оттепели в январе в Москве великое множество было болезней и даже умирающих, так что походило и на чуму самую, а многие шептали, что едва ли не была и она самая и, однако, сие скрыли и утаили. Иногда, неожиданно, незнакомкой, закутавшись, приходила к нему, мокрая от капли – приключение казалось опасным и приводило ее в восторг. Снег млеет и оседает, втягивает теплый воздух ноздрями, в окно летело со двора бульканье и царапанье скребка об асфальт. Во время любви на несвежей постели кусалась и кричала. В сучковатое стекло заглядывала, придя по карнизу на крик, облезлая кошка с пергаментными ушами. Сашенька, ну скажи – что тебе стоит, – что ты меня хоть немножечко любишь! Ей нравилось, чтобы он сажал ее себе на колени и целовал груди, по Кантемиру, пенистыя. Поглаживала себя – свою жесткую курчавость, говорила: каждая женщина немножко негритьянка. Клок из подмышки. Где-то прочитала, что мужа надо иметь молодого, а любовника старого. Берет фотографию. А кто эта девушка с косой? Весна в том году выдалась ровная, дружная. У ворот в почерневшем сугробе трепыхался на ветру зонт с перебитым крылом. Больше всего его возмущало, что Ольга Вениаминовна оставляла ему деньги – то положит незаметно в карман, то бросит в ящик стола. Ночь просидел над выписками из постановлений Сената и утром вышел в чайную напротив, во дворе дети хоронили кошку, ту самую, с пергаментными ушами, укладывали ее в коробку из-под ботинок. Вернулся домой, а его уже поджидают: Сашенька, что случилось? Я же вижу, что ты меня стал избегать. Ее испарения, терпкий пот. Одевалась и, задумавшись о чем-то, застыла с засученным чулком в руках. В трамвае опять говорили о погромах. У продуктовых лавок и сберегательных касс засыпает снегом очереди. С обомшелым исподом. На телеге мужик вез петуха. От вида его красных, мясистых подвесок, свалившегося набок гребешка чуть не стошнило. Сказался больным, потом стал отговариваться неотложными делами. Записки – просьбы, требования явиться. Егда же прииде к нему писание, он же прочтет, посмеявся и ни во что же вменив. Лга же паки посылает к нему второе и третье писание, ово молением молит, ово же и клятвами закликает его. Обманывать Вашего мужа, Ольга Вениаминовна, человека, который внушает мне глубокое уважение, считаю для себя оскорбительным и недостойным, и раз Вы изъявляете желание объясниться, извольте, я приду к Вам для окончательного объяснения в четверток. Подскочили цены. Матери убитых

солдат опубликовали что-то в газетах в день, когда начался ледоход. Внизу льдины налезали друг на друга для продолжения рода, размножались делением с громким льдистым треском и снова сплывали ряды за быком моста, тут Ольге Вениаминовне на какое-то мгновение показалось, будто она уплывает куда-то на корме ледокола. После бывших великих талей и начала повреждений путей и уже после сороков возвратились зима и стужа, мятельно. В четверг не было электричества, звонок не работал, и пришлось стучать. Взгляд на вешалку – гостей нет. Ольга Вениаминовна была в чем-то прозрачном на голое тело и говорила насмешливо и небрежно. Он швырнул ей массу неучтивых и дерзких слов, стараясь не смотреть. Срам честный лице жены украшает, егда та ничесоже не лепо дерзает. Знамя же срама того знается отгуду, аще очес не мешет сюду и онуду, но смиренно я держит низу низпущенны. Постоянно, аки бы к земли пристроенны. Паки аще язык си держит за зубами, а не расширяет ся тщетными словами. Мало бо подобает женам глаголати. Много же к чистым словом уши приклоняти. Зде твоа игра и враждное семя, мучителю всех! Лежала на кровати перед коробкой шоколадных конфет. Брала, надкусывала, смотрела, какая начинка, и бросала обратно в коробку. Что вы молчите, Ольга Вениаминовна? Ты уже все сказал? Тогда зажги мне сигарету! Лежа на спине, пускала дым. Ты, Александр, еще мальчишка, чтобы быть подлецом, а за озорство уши дерут – и схватила больно за ухо. А теперь – вон! Я устала и не хочу никого видеть. Особливого примечания достойно, что каково начало весны пестро ни было, но трава начала оживать точно в те же самые числа, как и во все предыдущие четыре года, а именно с двенадцатого числа апреля. Но в сей год было еще повсюду, в сие время, очень грязно, и по дорогам были еще кое-где остатки льдистого черепа. Александр Васильевич перестал бывать у Вершининых. К вокзалу шла манифестация женщин, изможденных, закутанных, телогрейных, требовали птичьих прав, припарок мертвым мужьям, седел коровам и молока детям. Илья Андреевич, не понимая, что происходит, столкнувшись с Александром Васильевичем в буфете суда, взял его за пуговицу. Кую злобу сотворих аз тебе, и почто изшел еси из дому моего? Протчее убо, молю тя, прииде, аз убо за любовь отца твоего, яко присному своему сыну рад бых тебе всеусердно. На улице, в длинном хвосте к закрытой булочной кто-то кричал: выпросил у Бога светлую Россию сатана да очервленит ю кровию мученическою. На западе светлело небо, едва тронутое отсветом давно отгоревшей зари. На Пасху поехал к матери на кладбище, провел рукой по чешуе старой краски, за соседней оградой крошили на землю яйца, разбивали скорлупу о крест, о чугунную дверцу. Хотел забежать на минутку, но Илья Андреевич посадил ужинать: и слушать ничего не хочу, да и Ольга Вениаминовна без вас, молодой человек, закручинилась, имейте к нам, старикам, снисхождение! Собрался уже уходить, когда со стороны парка послышались выстрелы. Трамвайщики бастовали, нужно было идти пешком. Нет-нет, Александр Васильевич, и не думайте, не пущу, останетесь ночевать у нас, Олюшка постелит в моем кабинете, и без разговоров! Илья Андреевич воздел руку кверху, будто ссылаясь на высшую инстанцию, а там чердак, ненужные пыльные вещи, осиное гнездо. Внегда же боголюбивый муж заспав крепко, жена его, диаволом подстрекаема, восстав тайно с ложа своего и пришед к постели юноши онаго и, возбуди его, понуждаше к скверному смешению блудному. Он же, аще и млад сый, но яко некоею стрелою страха Божия уязвлен бысть, убояся суда Божия, помышляше в себе: како таковое скаредное дело сотворити имам. И сия помыслив, начат с клятвою отрицатися от нея, глаголя, яко не хошу всеконечно погубити душу мою и осквернити тело мое. Она же, ненасытно распаляема похотию блуда, неослабно нудяще его, ово ласканием, ово же и прещением неким угрожая ему, дабы исполнил желание ея. И много труждашеся, увещевая его, но никак не возможе приклонити его к воли своей, божественная бо некая сила помогаше ему. Ветер – пыльца – любовь деревьев. Дни потянулись непогожие, суетливые, мышинные. Думать об Ольге Вениаминовне было неприятно. Не покидало ощущение, что он чем-то виноват перед нею. Сирень встала

на дыбы. Однажды среди лета проснулся ночью, и пронзительно захотелось иметь ее рядом с собой, обнять, прижаться, вдохнуть, войти. Отошла торопливая жатва, а за ней возовица. Начала краснеть отцветающая гречиха, позднее просо с махровыми венчиками и то отдавало желтизной. После обеда отправился погулять в Ильинском лесу, полном ужей и земляники. Звенели на лугах косы. Ушел куда-то с тропинки, хруст, странные звуки. *Selva obscura*¹⁵. Некогда же изыде един за град от великаго уныния и скорби прогулятися и идяше един по лесу и никого же пред собою или за собою видяше и ничто же ино помышляше, токмо сетуя и скорбя о разлучении своем от жены оныя. Вечер наступал без росы, сухой и душный. Опять, верно, будут гореть торфяники. А может, и дождь пойдет – обложило. И такову мысль помыслив, слышит за собою глас, зовущ его на имя. Он же, обращаясь, зрит за собою солдата, борзо текуща, помагающе рукою ему, пождати себе повелеваше. Он же, стоя, ожидая солдата онаго к себе. Рожа в кровь разбита, гимнастерка разорвана, кричит: стоять! Беглый, подумал Александр Васильевич, вот ведь как все получается, представляешь себе невесть что, а оказывается, вот так просто все и произойдет. Первой мыслью было броситься по дорожке прочь, звать на помощь, но что-то сковало ноги, и онемел язык. Солдат бежал, спотыкаясь о корни. По гимнастерке скакали солнечные пятна. Рече же солдат ему, глаголя: брате, что убо яко чуждь бегаеши от мене? Аз бо давно ожидах тя, да како бы пришел еси ко мне и родственную любовь имел со мною. Аз бо вем тя давно. Или мниши, яко избудеши от мя? Ни убо, не мни того, аз убо всею силою моею подвигнуся на тя! Веси ли кто есмь аз? Откуда мне знать, служивый, кто ты – дьявол, что ли? Аз есмь живот. И сия рече невидим бысть. Когда Александр Васильевич дошел до станции, упали первые капли дождя. Спрятался под деревянным навесом у кассы. Начался ливень, шумный, парной, белый. Все деревья вокруг станции разошлись. Оставался еще какое-то время тополь, но ливень припустил еще сильнее – ушел и тополь. Вечером, в летнем театре, где давали «Чайку», не удержался, спросил: Илья Андреевич, а где же ваша супруга? А вы не знаете? Укатила в Париж и тамо пребываху неколико время, идемте выпьем пива, вы ведь, вежливый юноша, не откажете составить компанию умирающему бессонными ночами от страха смерти старику? Ту зиму река пролежала, дымясь. На закате по сугробам ползли румянцы, синь и фиоль. На исходе марта Александр Васильевич узнал, что Ольга Вениаминовна вернулась, и сразу отправился к Вершининым. У Ильи Андреевича кто-то был. Выглянул только на минуту: Олюшка очень плоха, она в Алексеевской больнице. Вздохнул. Да что там говорить, не жилец Олюшка моя, сами увидите, вы извините, голубчик, меня клиент ждет. На площади, где собирались ломовики, пахло дегтем и гарью. Лес оглобел в воздухе. Он сразу поехал к ней в больницу, купив розы. И бе болезнь тяжка зело, яко быти ей близ смерти. И день от дне болезнь тяжчае бяше. Она узнала его, но не улыбнулась. Взгляд соскользнул с роз в окно. Сестра воткнула ей шприц с камфорой в исколотую ногу. Кожа – как сдутый сморщенный шарик. Она взяла его руку: какую скорбь имаше в себе? Он: Оля, все будет хорошо, ты поправишься. Она: что убо скрываеши от мене? Улыбнулась: я все знала с самого начала. С самого начала, понимаешь, с той зимы. Уже ничего не помогает, ни камфора, ничего. Ово о стену бия, ово же храплением и пеною давяше и всякими различными томленми мучаша. Он сидел рядом с кроватью и навинчивал на палец колпачок от пустого пузырька от каких-то капель. И се начат яко некий огонь горети в сердцы его, начат сердцем тужити и скорбети по жене оной. Все будет хорошо, Оля, спи, тебе сейчас нужно заснуть! Я завтра еще приду. И тако рек, поцелова ю и поиде от нея. Конец цитаты. Вы слышали, потрясенные и не верящие ушам своим, как на вопрос господина председателя, с какой целью он вернулся на место злодеяния, душегубец ответствовал, что хотел якобы убедиться, верно ли кадавр мертв. Молчу уже про то, чего стоит только одно это «вы», которое тотчас

¹⁵ Сумрачный лес (*итал.*).

начинают говорить человеку, как только он украдет или убьет, хотя до этого весь свет ему тыкал. Но при этом отдадим должное сомнениям, взбредившим бездушные грешника: ведь и мертвый еще не мертв, пока его смерть не подтвердит врач своим заключением, и будет считаться живущим среди живых, пусть и с мозгом наружу, до самой последней точки, поставленной привыкшим ко всему уездным доктором в конце медицинского освидетельствования. Мы с вами, слава богу, уже вышли из пубертатного периода, чтобы принимать на веру Тертуллиана с его залихватскими пассажами, вроде смерть достоверна, так как нелепа, воскресение несомненно, ибо невозможно. Определение, жива ли еще жертва, с одной стороны, не представляет видимых трудностей, и если отсутствует под рукой зеркальце, можно поставить на грудь испытуемого стакан, наполненный водой, и если вода не будет колыхаться, то признаки жизни отсутствуют, и наоборот. Или берут простой ванный термометр, вводят его, предварительно намылив, в задний проход, и если температура тела окажется ниже 15° по Цельсию, то то, что принято называть смертью, уже наступило. Испытывают и раскаленным сургучом – если его капнуть на нежные участки кожи, то на последней при наличии признаков того, что принято называть жизнью, образуется на глазах волдырь. С помощью того же термометра можно определить и момент наступления смерти. Вводят его опять же в задний проход и от нормальной температуры в 36,6° отсчитывают по 1–2° в час, это, однако, верно лишь до упомянутого порога в 15°. Окоchenение начинается через 3–4 часа, причем с головы, и продолжается в течение двух суток. На третьи окоchenение начинает отходить тем же порядком, но не следует забывать, что происходит это лишь при комнатной температуре. Если окоchenение прошло и нет еще зеленоватого оттенка, то смело можно сказать, что прошло трое суток. При моментальной смерти, однако, бывает и моментальное окоchenение, но только в тех мышцах, которые были сильно напряжены. Важным фактором является и появление так называемых трупных пятен, которые, вы не поверите, передвигаются, странствуют, если тело перевернуть, но спустя 5–6 часов путешествие пятен прекращается. Нахождением куколок мух можно также определить более или менее точное время наступления смерти. Сначала поедают тело малые, затем средние и только тогда уже большие мухи. Рекомендуется собирать эти куколки в банки для удостоверения искомого момента, так как нужно торопиться, потому что начинается гниение плоти. Самый благоприятный температурный режим для этого процесса 37°, при температурах выше 60° и ниже 0° гниение невозможно. Здесь картину определяет окружающая среда – гниение тела, открытого в течение 2–3 недель, равно гниению тела, закрытого от воздуха, в течение шести месяцев. Труп в воде гниет в восемь раз медленнее трупа на воздухе. Легче всего загнивает мозг новорожденного. Небеременная матка гниет медленнее всего. Позеленение наступает через 4–5 дней первоначально у пахов. Гнилость выражается в появлении специфического трупного запаха, но если у бедя дазборг, то применяется следующий способ: свинцовый сахар или свинцовая примочка не оставляют обыкновенно следа, если написать ими что-либо на бумаге, но если вложить затем эту бумажку в нос трупа, то написанное проявляется и последнее можно прочесть. Несмотря на толстый слой земли, труп не остается спать в могиле, а проникает в атмосферу в виде миазмов, зародышей, составляя необходимое условие жизни и даже красоты (производя, напр., голубой цвет неба) и грозя при недеятельности человека завладеть всюю землею, заменить собою все ее население и вытеснить наш род. Так, напором этих газов выпирается задний проход, образуется так называемое выпячивание кишки, и неоднократно зарегистрированы случаи, когда у беременных женщин после смерти наступают от этого даже роды. Одномесячный выкидыш имеет величину сливы, двухмесячный – с куриное яйцо, трехмесячный – с гусиное. Общепринятым плодогонным средством является спорынья, растет, кому неизвестно, во ржи, а также рутадонский можжевельник. От принятия свежей спорыньи происходит резь, называемая простолюдинами злой порчей,

действующая на сужение матки. Вспомогательным средством, без которого все труды могут пропасть втуне, является горячая вода, которая вводится в половое отверстие посредством эсмарковой кружки. Обратим также внимание на то, что женская прихоть обливать своих любовников кислотой пришла к нам из Парижа и, как видите, прижилась. Вообще, кислоты и яды – средства перспективные, за ними будущее, хотя и они имеют за собой богато иллюстрированную историю. Папе Виктору II, например, яд подмешали в чашу со святыми дарами, императору Генриху VII в яд обмакнули облатку перед причащением, Гамлету капнули что-то в ухо, римского Клавдия отравили при помощи клистира. Знаменитый Кальпорнеус отравлял своих жен через детородные части, вводя им мышьяковую кислоту на пальце во влагалище. Генке в своем спорном, но весьма интересном исследовании упоминает об одном крестьянине, который убил трех суженых, вводя им после сокоупления катышки с мышьяком. Яд содержится и в парах – так папа Климент был отравлен дымом ядовитой свечи. От отравленной обуви умер Иоанн, король Кастильский. От отравленных перчаток скончался Генрих VI. Не так легко отравиться стрихнином – из-за его горького вкуса. Удобен мышьяк, хотя он и трудно растворяется, зато без запаха и почти безвкусен. Узнать его вкус в жидком растворе, например в гоголь-моголе, практически невозможно. Главное его преимущество, помимо прочего, в легкодоступности. Он употребляется гончарами и шляпниками, в красильнях и набивных фабриках, при выделке стекла и при изготовлении красок, не говоря уже о применении его как средства для истребления крыс и мышей. Употребляется как белый мышьяк – мышьяковистая кислота, так и сернистый мышьяк – соединения с серой в различных пропорциях. Отравление мышьяком имеет вполне характерные симптомы: упорная рвота, неутолимая жажда, чувство жжения в зеве и пищеводе, сильнейшие боли в животе, понос с испражнениями кровавыми или похожими на рисовый отвар, как при холере, судороги, ползание мурашек при почти незаметном пульсе. Реже применяются серная кислота, купоросное масло – из-за характерной едкости – разве что при большом превосходстве силы. Поэтому кислотами отравляют почти исключительно только детей. Тот же Генке приводит случай, когда женщина в Подольске, работница известного завода швейных машинок, употребила ребенку разбавленную серную кислоту на клизму, приняв ее за льняное масло. Бывает, что и выпивают вместо водки залпом. Впрочем, отравить можно и водой – дайте нашенскую воду нервной натуре – и умрет. Так что в этом смысле ядов вообще нет – любое может стать опасным, сунь только в рот. На одного яд не произведет никакого вредного действия вследствие привычки – вспомните мучения Сенеки, другой умрет просто от страха быть отравленным. Лошади без вреда для нее можно давать мышьяк неоднократно большими порциями, коза ест болиголов, а свинья умирает от перца. Но мир, разумеется, не был бы столь гармоничным, если на всякий яд не было бы своего противоядия. Первым делом, и ребенку ясно, нужно вызвать рвоту – пощекотать зев, развести ложечку горчицы в стакане теплой воды. Если не подействует, повторить, но теперь уже с раствором мыла или лампадного масла, на стакан воды чайную ложку. Универсальным противоядием признана белковая вода, но лишь в случае отравления металлическими ядами. Приготавливается она так: берется белок от двух куриных яиц на бутылку воды. Дубильная кислота, или, по науке, танин, действует – но лишь при точном соблюдении пропорции 1/2 чайной ложки на стакан воды – преимущественно на растительные яды. Если нет по соседству дубильни, то нужно отварить обыкновенную корковую крошку. При отравлении кислотами хорошо зарекомендовал себя в последнее время обыкновенный древесный уголь, истолченный в порошок. Также не следует недооценивать магнезию, известковую воду, соду, мел, словом, что окажется под рукой. При отравлении щелочью придется, хоть это и малопривлекательно, выпить лимонного сока, или лимонной кислоты, или того же уксуса. Средство от мышьяка можно заказать в любой аптеке. Так что неудивительно, что в якобы предсмертном письме

аноним особое внимание обращает именно на хрупкость человеческой жизни: «Энхиридион Лаврентию. Пишем вашей милости и просим вас убедиться на наше письмо, которое оплакивалось у северной тундры не горькими слезами, а черной кровью, когда мы, пролетарии Могилевского окр., собрались и решились поехать отыскивать своих родных. Приехавши на место среди северной тундры Нандомского района, мы увидели высланных невинных душ из-за каких-то личных счетов, увидели их страдания. Они выгнаны не на жительство, а на живую муку, которую мы еще не видели от сотворения мира, какие в настоящий момент сделаны при советской власти. Когда мы были на севере, мы были очевидцами того, как по 92 душ умирают в сутки; даже нам пришлось хоронить детей, и все время идут похороны. Это письмо составлено только вкратцах, а если побывать там недели, как мы были, то лучше бы провалилась земля до морской воды и с нею вся вселенная и чтобы больше не был свет и все живущее на ней. Но пролетария, живущая по деревням, ужаснулась этого положения и напрямик задумала раскулачить рабочих по городам, как над крестьянами есть издевательство. Просим принять это письмо и убедиться над кровавыми крестьянскими слезами. Подпись неразборчива». Оставим на совести заскорузлого пера путаницу в запятых и обратим внимание на главное, не боясь быть обшканными невеждами и наглецами. Наш суд уже пережил эту мрачную эпоху смещения задач земного правосудия и интересов нравственности, она отошла в прошлое, оставив тяжелые воспоминания, и, надо надеяться, никогда не возвратится, ведь человек не прежде учится различать зло от добра, пока его за первое не накажут, а за другое не вознаградят. Не зная греха не творить. Напрасно законодатели пытаются путем самых суровых наказаний насаждать нравственность – их усилия бесплодны. В половых преступлениях вместо развращенной воли медицина находит болезненное безволие, вместо гнусного преступника – вызывающего жалость больного. Чего же требовать от придурковатого *stultitia*¹⁶, взятого директором цирка из чувства сострадания орудовать метлой на конюшню. Еще Моисей установил: кто совокупится с животиною, тот пусть смертью умрет, а животное, добавлял Левит, также умертвите. Безжалостный в делах чести Рим ограничивался здесь штрафом. Византийское право предписывало отрубать ближнему нагрешивший орган. Каролинги грозили неосторожным пастухам сожжением. Хотя Кант и поддерживал наказуемость совокупления с бессловесной тварью, Фейербах освобождал грех сей от кары в своем Баварском кодексе. Обратимся теперь к нашим баранам. В уставе Ярослава Владимировича за удовольствие «сблудить с животиною» полагается уплата 12 гривен и наложение епитимьи. Воинский устав Петра, в свою очередь, предписывает – вот вам сквозняк из открытого в Европу окна – несчастного солдатику «жестоко на теле наказать». Двуличная и беспощадная, когда речь заходила о власти, Екатерина назначает, разумеется, не без задней мысли пустить пыль в глаза своим просвещенным корреспондентам в Париже и Берлине, ссылку на пять лет в монастырь на покаяние для привилегированного сословия и «нещадное» сечение кнутом и вечное поселение в Сибири для «подлых», хотя кому, как не энциклопедистам, знать, что скотоложство имеет, по мнению современной науки, смотри, в частности, новейшие исследования Hüssy и Baumgartner'a, ту положительную сторону, что исключает возможность потомства идиотов. Но вот я вижу, что-то хочет возразить нашему уважаемому эксперту товарищ прокурора. Пожалуйста, Антон Михайлович! Благодарю! Господа! Сударыня! Мужчина и женщина! Печальный пасынок природы! Исаак, Авраам и Сарра! Братва! Послушайте меня, сердешные! Мы молимся каждый раз чужим богам. Курим фимиам не нашим идолам. Приносим жертвы не на свои алтари. Толчемся не в той кумирне. Нам сказали, что мы принадлежим какому-то зверю с человеческим лицом, что нас нашли в капусте на его грядке, что это его флажки на веревочке между

¹⁶ Скудоумие (лат.).

деревьями, за которые нельзя. Мохнатый, когтистый, кишит шерсть насекомыми, а в лице что-то материнское, и грудь налита молоком – пей, другого не будет. Какой-то сфинкс, таинственный, огромный, загадочный. Приходишь в детский сад, а он уже тебя встречает, еле стянув белый халат на груди, попахивая, и одна лапа за спиной. Угадай, Вася-Василек, загадку: что у меня там – живое или мертвое? И слышно, как что-то попискивает, жалобно так, безропотно – птичка-невеличка. Скажешь: живое, так сразу – хруст, а вот и не угадал! Сердце ведь не железное, вот и врешь: мертвое. Проиграл! – сфинкс радуется и протягивает птенчика, крошечного, живого, теплого, дрожащего. Поднесешь к губам, подуешь, и перышки топорщатся. Проиграл так проиграл, зато жив. А сфинкс: гуси, гуси! Ты: га-га-га! Сфинкс: есть хотите? И что ответить? А куда денешься-то? Да еще жена, дети, мать в больнице. Вот и толчешь из века в век воду в решете, таскаешь в ступе, наживаешь грыжу. Только осточертеет все, разогнешь спину, погрозишь сфинксу кулачком, мол, уж тебе, так он тебе сапогом под дых и шепчет на ухо: сыт, сынок, крупницей, пьян водицей, по которой реке, дочка, плыть, ту и воду пить. Разлегся на широтах, как на скрипучих половицах, положил тебя между лап и целует: дитячко ты мое! Меня, предупреждает, поигрывая хвостом, умом не понять, в меня, кровиночка ты моя, только верить! Вот и веришь, хоть и боишься, что голову отгрызет. Зверь ведь. Господи, да мы сами звери. А тут еще цирковая конюшня! Запах лошадиного мыла, пропотевшей кожаной упряжи, подмокших опилок, рыбы, выпавшей из кармана коверного, сквозняк освещенного манежа, деревянные скамейки, обитые кумачом, где-то далеко в вышине колышется на ветру брезентовый купол, слышны нетерпеливые аплодисменты публики, вот уже мчатся вороны в белых лайковых уздечках и высоких страусовых эгретах, голоножка вскакивает на сытый лоснящийся круп, у вас стек в одной руке, револьвер в другой. Реквизит в уборной – булавка величиной с зонтик, зубные щипцы, годные для Гаргантюа, корзина яиц, клистирная трубка. И нужно научиться ловить апач, на лету рассекать шамберьером подброшенное яблоко, прокалывать себе язык, кожу на груди, мускулы, прищипливать к телу на французских булавках небольшие гири. Грим азиата делается так: маленькие кусочки пробки расширяют ноздри, куски пластыря стягивают углы век. Совсем не сложно глотать огонь – рот и губы предварительно промываются квасцами, что предохраняет от ожогов, вот вам, кстати, секрет Муция Сцеволы. Опасаться же нужно дружеского участия, так как нигде зависть и недоброжелательство не имеют столь костоломных последствий, как на арене. Нина Труцци работала на трапедии, и внизу была натянута предохранительная сетка, куда артистка и должна была упасть и прыгать там, как мячик. Загремели барабаны, зал затаил дыхание, девушка бросилась вниз, но сетка вдруг прорвалась. Расследование выяснило, что сеть посередине была прожжена кислотой. Травят друг другу собак, лошадей. Один раз лошадь понесла – вместо канифоли, которой обычно посыпают спину перед вольтижировкой, кто-то сыпал мелким стеклом. Вот другая месь – в трико подсыпать порошок, вызывающий зуд. Вместе с потом он причиняет невыносимую боль – как припадочный, катаешься по полу. Что же касается шпагоглотания, то сначала горло приучается к щекотанию обычной медицинской щеточкой, потом идет тренировка с разогретой свечой, потом начинаются опыты с короткими твердыми предметами. Предельная длина заглатываемых предметов определяется анатомией: расстояние от губ до горла плюс длина горла, плюс пищевод – до полуметра. Предметы, для предотвращения спазм в горле, нагреваются: на столике лежат платки, которыми несколько раз нужно быстро протереть шпаги. Во избежание возможных ранений перед началом выступления применяется следующая уловка: заглотните сперва полую трубку, в которую шпаги и кортики входят безболезненно, как в ножны. Но настоящий успех вам принесет лишь номер «человек-аквариум». Из нескольких кувшинов наливаете воду в 30–40 бокалов – и выпиваете. Затем берете из аквариума несколько живых рыб и лягушек и глотаете их. Затем изрыгаете из желудка всю выпитую воду

и достаете – по заказу публики в любом порядке – живых лягушек и рыб. Разумеется, во всем нужна последовательность и постепенность. Дозу выпитого следует увеличивать понемногу, чтобы желудок привык к ненормальному расширению. Форма бокалов тоже особая – на самом деле выпивать приходится не больше 20 стаканов. Труднее приучить организм выбрасывать назад всю выпитую жидкость. Сначала во время тренировки в последнем стакане выпивается быстродействующее рвотное, постепенно количество рвотного уменьшается – вскоре вырабатывается рефлекс, позволяющий без рвотного по желанию возвращать назад выпитое. Остальное – проглатывание живых рыбок и лягушат – неприятно, но несложно. Напуганные лягушки могут помочиться во рту артиста, но и это нестрашно, сцена приучает улыбаться даже при смерти. Конечно, бывали случаи, что земноводные ассистенты околевали и переваривались желудком – подумаешь, французы ведь едят лягушек. Возвращение рыб и лягушек тем более несложно – те плавают по поверхности и выходят в самом начале. Артист, процеживая между зубами воду, удерживает их во рту, а потом по требованию публики выталкивает языком заказанное – лягушку или рыбу. Обратит внимание следует обязательно на то, что при токе воды рыбы должны плыть вперед головой, а если перевернется и пойдет хвостом, то может возникнуть опасность от острых колючих плавников и чешуи, работа же с лягушками совершенно безопасна.

Со стороны Марселя Ницца появляется в профиль – слева тройной ряд гор, справа – море. На дальних вершинах – снег. Прибрежье, засаженное пальмами, фицоллаками, эвкалиптами, олеандрами, приятно тербит глаз. Мелькают разноцветные киоски купален. А вот рыбаки во фригийских колпаках, тянущие невод. Кто-то у соседнего окна говорит: Канн, Ментона, Иер – все это гравюрки, хорошенькие, но гравюрки, а здесь – картина.

Никея – город побед. Основанная греческими колонистами из Массалии за 300 лет до рождества Христова, Ницца расположена на берегу бухты Ангелов и защищена горами от северных ветров. Средняя температура года – 15,9°, зимы – 9,5°, лета – 23,9°. Средняя влажность – 61,4 %. Только в апреле и марте мистраль высушивает воздух. В предыдущем «Письме с Ривьеры», опубликованном в январской книжке, я, кажется, упоминала, что берег здесь покрыт голышами и нога, одетая в веревочные сандалии, скользит с боку на бок.

Главное действующее лицо ниццкой мелопеи – солнце, прожигающее веки. Ниццары и ниццарки не знают туманов. В августе здесь все покрыто густым слоем пыли, каменистая земля пересыхает, листья чернеют и сворачиваются, как чай в цибиках. Мустики – едва заметные мошки – кусают, как пчелы. Морские ванны не освежают – вода слишком теплая. Отдыхающие бегут в горы или сидят с открытыми окнами и опущенными жалюзи, поливают каменные полы водой и смотрят, не упал ли барометр. Капитан Пальон, горный поток, разделяющий Ниццу на две части – старый город и новый, – в это время года грязен, смраден и ленив.

На Promenade des Anglais – бесчисленные кофейни и кондитерские, где после купания можно выпить чашку кофе или рюмку марсалы. На Корсо – фонтан Тритонов, вывезенный дочерью Михаила Палеолога из Константинополя. Бронзовая статуя Массеоли с парой громадных ботфортов и крошечной головкой на массивном туловище смотрит на заснувший броненосец на рейде. На набережной среди прочего указатель – «До Санкт-Петербурга 3850 верст». Откушав мороженого с фруктами на Rue de la Préfecture, 14, – в доме, в котором скончался Паганини и откуда его тело отправилось в бесславные скитания, – заглядываем на рынок, где рассыпалась корзина со сливами и ругань пуассардок. В рыбьем ряду бьет в нос острый запах от садков с устрицами и прочими морскими курьезами, везде лохани с живыми омарами, лангустами, анчоусами, мерланами. В Jardin public¹⁷, распираемом вспученным духовым оркестром, осаждают мальчишки, навязывая бесхитростные букетики и

¹⁷ Публичный сад (фр.).

галдя без перерыва. Чтобы отделаться, нужно взять букет у первого и указывать на него всем остальным.

У морского вокзальчика вода пахнет дегтем и нефтью, случайный польский щебет щекочет несколько мгновений ухо, а море – крыжовенное.

В обеденной зале зеркала во всю стену, сотни огней под матовыми колпаками, расписные потолки с богами Олимпа и амурами, готовыми спуститься на вас на своих гирляндах, везде позолота, мрамор, на полу толстый мокетовый ковер, на столе белоснежная скатерть, хрусталь, серебро, вазы с цветами, пирамиды фруктов, прислуга с накрахмаленными воротничками. Сосед по пансионному столу заказывает вторую тарелку бульябеса. Этаким составившийся Базаров, перешедший от резания лягушек к препарированию стрекоз. Каждый день он совершает далекие пешие прогулки и зовет с собой. В любую погоду и в любом месте этот господин из Казани, адъютант с руками мастерового, носит крепкие горные ботинки и всегда ходит в коротких кожаных штанах, выставя напоказ мускулистые крепкие ноги, густо заросшие бронзовыми волосами, золотящимися на солнце. Вооружившись путеводителем Пыпина, он ходил уже в Антиб и Ментону. Туземные средневековые городки он с присущим русским путешественникам снисходительным презрением называет недотыкомками и смеется, что там главная площадь величиной с гостиную, а дома – как птичьи гнезда. Причем не столько восхищается древностями, сколько возмущается тем, что отойди чуть в сторону, где не бывает туристов, и сразу запустение, нищета, грязь, что очисткой улиц занимаются лишь бездомные собаки и что Ривьера загажена фабриками.

Один раз я зашла за ним – мы собирались пойти на рынок. Все в его комнате неряшливо, валяется как попало. Николай Александрович, как зовут моего невольного знакомого, собирает всевозможные камни, жуков, растения для гербария. Все эти сокровища для университетского музея копятя пока не разобранными в банках, бумажных свертках, спичечных коробках. Я имела неосторожность взять полистать книжку с какой-то жестянки, так оказалось, что том заменял крышку, и на меня посыпалась какая-то прыгучая еще живая дрянь. Николай Александрович заползал по полу, хлопая по паркету своими лапищами, а на мои извинения только сокрушенно качал головой. Прислуге он строго-настрого запретил убирать в своей комнате.

– Для них ведь это все мусор, – объяснял он мне, разглядывая на свет стеклянную банку, в которой что-то жалобно из последних сил жужжало. – Их ведь ничего, кроме чаевых, не интересует. Собираешь, собираешь – и все коту под хвост.

Потом протянул что-то в кулаке:

– Возьмите, не глядя, на счастье!

Я дала руку, открыла ладонь.

Улыбнулся:

– Не бойтесь?

– Разве можно бояться счастья?

Положил жука.

– Что это?

– Скарабей. Его почитали в Египте. Нам кажется – дикари. А может, так было и лучше. Мы, кажется, недалеко ушли – те хоть в навозника верили.

На столе – фотография в рамке, обычная глупая семейная пастораль, пастух, пастушка и их барашечка. Николай Александрович с женой, совсем еще юной тощей особой, и их курносое чадо с прижатым к сердцу зайкой. Ухватились за сына, как за спасательный круг, и смотрят на меня. У мальчика чуть косят глаза.

– Какой у вас чудесный мальчуган! – сказала я, чтобы что-то сказать.

Удивляясь их крошечным порциям, Николай Александрович никак не может понять, почему я ничего не ем. Знал бы он, как я тайком на спиртовке готовлю тошнотворную тюрю

и как заставляю себя ее глотать. С каждым днем становится все хуже. Я буквально чувствую, как это – то, что даже теперь боюсь назвать его именем, коротким и простым, – пожирает желудок, его стенки, кишки. Я знала, что теперь все пойдет быстро, и, в общем-то, была готова к этой стремительности, но все это чушь и ложь – можно лишь убеждать себя в готовности, но невозможно, абсолютно невозможно быть готовой.

Помню, как вышла от врача на Бульвар де Гренель, еще не успев толком осознать, еще удивляясь и не принимая, не ошеломленная и не подавленная, но – превратившаяся вдруг в зрение и слух: с неба сыпала мелкая сухая крупа, и голуби крыльями смахивали с мостовой поземку – шорох перьев об асфальт, – и обоняние вдруг заменило мысли: спустилась в метро, а там вонь от клошаров. То, чего боялась, в чем в последнее время не сомневалась, с чем смирилась и в чем даже пыталась найти какую-то необъяснимую горькую сладость, превратилось вдруг из ночных страхов в названную реальность. Одно слово – и невидимое стало осязаемым, страшное и принадлежащее только тебе – рядовым случаем, еще одной галочкой в медицинской статистике.

Первое желание – броситься к кому-то, рассказать, объяснить, поделиться, да-да, разделить того, кто возвращает внутри меня все съеденное обратно, и всучить в чьи-то руки. Сказать кому-нибудь: я умру.

А потом заходишь в магазин – чулки порвались, – там улыбаются тебе и улыбаешься ты. И оказываешься в суетливой толпе на вокзале под закопченными стеклянными арками.

Упаковала чемодан – и к морю.

В Ниццу едут с Лионского вокзала. Французские поезда – дрянь, но какая разница.

Зима прямо на глазах, как в детской сказке, превращалась в лето. Пассажиры бросались от окна к окну, теребя друг друга:

– Посмотрите только!

Мимо проплывали красные голые скалы, развалины замков, виноградники, серые оливковые рощи, в фиолетовой дымке далекие горы, пальмы, громадные толстолапые кактусы.

Дорогу от Марселя до самой Ниццы я провела запершись в туалете, меня выворачивало наизнанку.

Нет-нет, я приехала не умирать, отнюдь. Курортная жизнь, если и имеет цель, то дотянуть, наслаждаясь январским жарким солнцем, пальмами, перекинутыми на бульваре, как шея лебедя, видом красавца-полицейского в белой каске – до битвы цветов. Уже вовсю идут репетиции карнавала – горничные и прачки, а также безработные, нанятые за 10 франков, изображают, обливаясь потом, рыцарей и дам, дикарей и пейзажников.

Сегодня после завтрака мы с Николаем отправились в русскую читальню – наняли фиакр и доехали до виллы Бормон, где Николаевское православное кладбище и часовня покойного Цесаревича. Поднялись по высеченной из камня лестнице, шли по широкой аллее, залитой цветами. Оттуда открылся вид на море – спереди беспредельная глубина, слева разморенная Ницца. Русская библиотека притаилась в приделе церкви. Можно читать в саду под пальмами. Мы взяли по толстому волюму с кириллицей, радующей глаз, устроились в плетеных креслах в тени и читали, смахивая со страниц летевшую с кустов шелуху. Один раз набежало облако, которое, может, терлось о Гибралтар.

Сейчас пришла домой, приняла душ и прилегла. Мой номер я делю с туземцами – мелкими настырными муравьями. Берешь в ванной зубную щетку, а они вылезают оттуда, как из леса на опушку. Отламываешь кусок оставленного на ночь на столе круассана – те уже прижились в ноздреватом мякише, как монахи в пещерах.

Есть вещи, которые я не могу принять в этом человеке. Мне претит его безапелляционность, инерция разогнавшегося тяжелого предмета, самоуверенность обладателя ящичка, в котором шебаршится некое высшее знание, вроде его медитеранского навозника. Он весь

– правильность и спокойствие, незыблемая уверенность, что наш нечаянный мир – не волос в чьем-то супе, но овеществленный смысл, что двуногополые развиваются от зла к добру, от грязи к чистоте, от хаоса к порядку, от гильотины к электрическому стулу. Он раскладывает по полочкам эту бесконечную кашу из горшочка, что варит жизнь, как раскладывает по коробочкам свою безмозглую дрянь, в уверенности, что все на свете поддается классификации, что всему можно найти подходящее место, что все можно назвать, что для всего существует имя.

Здесь есть один чудака, мнящий себя художником. Ни красок, ни кистей у него нет, с утра он уходит на берег и в набегающих волнах ставит отполированные морем камни на попа один на другой. Получаются какие-то причудливые формы, что торчат из воды и держатся против всяких законов физики. Публика на променаде останавливается посмотреть на эти вихлястые скульптуры и не скупится на мелочь – таким образом он зарабатывает себе на ужин. Ночью камни расшвыривают то ли волны, то ли мальчишки.

Художник и сам похож на свою скульптуру – на плечах примостился череп-голыш без единого волоска, который прикрывается от солнца детской панамкой.

Сегодня мы с Николаем поехали на фиакре смотреть на город с Шато. Оттуда, с Замковой горы, вся Ницца как на ладони, уступами с севера спускается к морю. Там же, в крепостце, защищавшей когда-то итальянский городок от врагов, а теперь ставшей рестораном, пообедали, причем встретили пляжного скульптора, и Николай пригласил его на стакан вина.

Там, наверху, было ветрено, мистраль вздымал скатерти и юбки. Николай стал ни с того ни с сего нападать на несчастного старика, будто хотел что-то доказать ему:

– Вот вы говорите, что готовы умереть в любую минуту без страха, что примете отлучение от этого неба, солнца, ветра без ропота и сожаления – со словами благодарности Богу и за каждый прожитый день и за посланную смерть. Но чтобы умереть счастливым, согласитесь, нужно хоть частью своей здесь остаться, породниться с женщиной, бронзой или хоть кирпичом, оставить потомство, теплокровное ли, каменное, бумажное, чтобы вы знали: вот это – мой сын, а вот это – моя дочь, я их люблю и оставляю жить вместо себя.

Старик только вытирал пот с шеи своей панамкой, виновато улыбаясь и не понимая, что от него хотят. Я зачем-то заступилась за этого беднягу с зубами, желтыми, как кукурузные зерна:

– Знаете, чего вам надо бояться, благоразумный мой человек?

– Чего же?

– Того, что в один удивительный день вы не узнаете того, с кем думали, что породнились, выбросите на помойку ваших детей и на последний гривенник закажете в кондитерской ванильное мороженое с клубникой. Любите?

– Нет.

Тут раздался выстрел из вестовой замковой пушки – команда всем проверить часы. Мы пошли обратно пешком. Сен-Жан с горы похож на распластанного крокодила. Конец января, а уже цветут лавр, миндаль, пинии, апельсины, лимоны.

Разбила зеркало. Случайно, конечно. Гром, звон, вся ванная в осколках. Даже поцарапала руку. Неглубоко, несколько капель. Не успела оглянуться, а они уже повесили новое. И оттуда кто-то смотрит. Мне хуже с каждым днем. Кожа сохнет, морщинится, обтягивает череп. Силы уходят. Не показываю вида, после завтрака бодро иду к морю, но дохожу только до ближайшего кресла на променаде. Сажусь, сколько могу, любуюсь гуляющими и облаками, кормлю чаек, потом возвращаюсь к себе в номер, глотаю порошки и реву.

Он: Ольга Вениаминовна, вы чем-то больны, вам нужно обратиться к врачу, иначе вы просто погубите себя!

Я: Пустяки! Со мной всякий раз так бывает зимой – впадаю в тощую спячку. Я знаю и без врачей, что мне нужно: солнце, морской ветер да вон тот парус с талией осы.

Неделю не бралась за перо. И вот сегодня. Почему, почему, почему? Как я могла не видеть, не чувствовать, не понимать! Он молча зашнуровывал свои ботинки, будто не слышал меня. Потом сказал:

– Это старая фотография. Теперь был бы уже в пятом классе. Нет, в шестом.

Я не поняла:

– Как это?

– Его больше нет.

Мне стало не по себе.

– Ради Бога, извините, я что-то не то сказала.

Он невесело улыбнулся.

– Ничего страшного. Уже столько лет прошло.

Мы вышли на улицу. Он молчал. Я зачем-то спросила:

– Что с ним случилось?

– Бегал с мальчишками по льду. Попал в полынью. В общем, глупая история.

Я шагала рядом, еле поспевая, и не знала, что сказать.

– Да вы не расстраивайтесь из-за меня, – он как-то странно улыбнулся. – Я, когда все это произошло, жить не мог. А потом мне объяснили, что так должно быть. Просто закон такой – как яблоком по лбу. С каждым в жизни должно что-то произойти. И с вами произойдет. И со всеми. Просто нужно знать. А с женой мы после этого разошлись. Наверно, это должно было нас, наоборот, сблизить. А вот как получилось. Может, он только нас вместе и держал.

На рынке стоял гвалт, там везде что-то жарилось, парилось, кипело. Я смотрела на этого человека, у которого по нелепости так чудовищно погиб самый дорогой человек, как он азартно торгуется, хохочет, хлопает рыбачек по плечу, – и не понимала, что это? Очерствелость души? Сила жизни? Или сила жизни и есть очерствелость души? И все не лезло у меня из головы его яблоко по лбу.

Dimanche и Mardi gras¹⁸ – две высшие стадии карнавального опьянения. Не ходите на Корсо, если у вас ненадежны локти, мрачно на душе, щеголеват костюм, а на голове шляпа – попадете в давку, вас выпачкают всеми красками и если не собьют с ног, то непременно нахлобучат вашу шляпу по уши. Можно выбрать безопасное место на террасе около префектуры или заплатить за окно или балкон. Карнавал квакает лягушками, размахивает гигантскими крыльями летучих мышей, кувыркается обезьянами, садится на козлы бородатым кучером в дамском бальном костюме, сыплет цветами, швыряет мучными конфетами пополам с горохом. Кто является только поглазеть, заражается, покупает цветов, конфет и, войдя в азарт, еще очень досадует, что конфеты не камни, чтобы бросить их в одну рожу, приветливо улыбающуюся с балкона.

Ну вот, все и произошло. Случилось то, что и должно было случиться. Милый, несчастный, славный мой Николай Александрович! Все, что вышло, поверьте мне, к лучшему! Знала, что вы давно должны были уехать и не уезжали, все откладывали, находили тысячу причин переменить билет. Знала, что вы придете и скажете то, что сказали. Просто и внятно, хоть и покраснели, как мальчик. Конечно, любимый мой человек, вы тысячу раз правы, и было бы просто чудесно, просто замечательно, просто восхитительно положить вам голову на плечо, прижаться к вам, обхватить сильно-сильно и больше никогда не отпускать. Да что же вы, глупый мой, спрашиваете еще, хочу ли я быть вашей женой, какого еще вы ждете ответа? И в ту минуту, когда я ответила вам «нет», в ту самую секунду вдруг так пронзительно захотелось умереть. Послушай, любимый мой, ты все-все когда-нибудь поймешь. Есть вещи, которые и существуют только для того, чтобы быть понятыми потом. И когда ты все поймешь, ты простишь. Милый мой, мы прекрасно знаем с тобой одну истину, кото-

¹⁸ Воскресение и Последний день карнавала (фр.).

рая единственная удерживает этот мир. Все сущее держится на ней, как на соломинке: что бы ни произошло, самое важное – не терять достоинства. И вот этот экзамен, может быть, главный из всех, которые нам пришлось сдавать, мы выдержали. Ты стоял у окна. Там валялась на подоконнике точилка, ты взял ее, вытянул из стакана с карандашами самый тупой и принялся точить. Я поправляла цветы в вазе. Зачем карандаш, при чем тут цветы? Я стала болтать что-то о карнавале, какую-то несусветную чушь, лишь бы заглушить молчание. Ты все был занят точилкой – у карандаша то и дело ломался грифель. Потом сказал, не глядя на меня, что завтра уедешь утренним поездом. Я ответила как ни в чем не бывало, что приду тебя провожать. Все вышло хорошо, как нельзя лучше, как и должно было быть, только в самом конце тебя чуть подвели нервы – хлопнул дверью так, что зазвенела люстра.

Ты уедешь завтрашним поездом, а я буду стоять на платформе и махать тебе, улыбаясь, щурясь на солнце, легко, беззаботно. Потому что и я, единственный мой, права, хоть у меня и не так много аргументов. Даже совсем немного. А вернее, всего-навсего только один: что за радость жениться на гниющем заживо желудке, правда? А та, в зеркале, когда ты ушел, сперва сидела на кровати долго-долго. Из окна доносились звуки оркестров, мешавших друг другу, крики, смех, вопли. Потом, спокойная, уверенная в себе, слегка голодная, она стала одеваться. Примеряла платья, все на какую-то толстуху. Расчесывала волосы. Пудрилась. Подводила ресницы. Оставила по капле духов за ушами, на шее, на груди. Закрыв окно, на случай дождя, она вышла из зеркала и отправилась на Корсо, туда, где бесился карнавал, – ее стиснули в давке, измазали волосы взбитыми сливками, ткнули охапкой цветов в лицо. Она выхватила у кого-то букет и сама стала хлестать им направо и налево. Толпа вышвырнула ее к какому-то ресторанчику. Она, смеясь, заказала жаркое, не глядя, просто ткнув пальцем в меню, потом еще полдюжины блюд. Стала пить вино и есть все подряд, запихивая в рот куски пальцами.

Первый раз ее вывернуло уже в ресторане. Она еле дошла до гостиницы. Не хватило сил добраться до номера, и она присела у стены в коридоре. Я как раз возвращался от близняшек несолоно хлебавши, в кармане бутылка коньяка, злой, да какой там злой, просто в бешенстве. Думаю, напьюсь один – и весь карнавал. А когда я в таком состоянии – ты же меня знаешь, – остановиться уже не могу. Помнишь, как я чуть не вышвырнул тогда поляка-хама из поезда на полном ходу? И вот слушай приключение. Смотрю, на этаже сидит на корточках одна тут особа, я тебе про нее, кажется, писал, местное чучело, посмешище сезона. С невероятной шляпой, над которой умирает со смеху весь табльдот.

Подхожу, спрашиваю:

– Вам помочь?

Мычит что-то, мотает головой.

Я ей снова:

– Да что с вами? Вы плохо себя чувствуете? Может быть, вызвать врача?

А она в ответ блевать, еле отскочил.

Ну, думаю, не оставлять же пьяную женщину без помощи. Под мышки и к себе в номер. Она и не сопротивляется, тащу ее, как куль.

Вокруг нее увивался тут один мухолов, но, видно, без натиска. Я ее на кровать и давай отпаивать коньяком.

Ну, брат, дальше можешь сам себе все представить! Пожалел только, что тебя не было (не забыл еще волоокую хористочку с ниточкой в пупке?).

Обожаю все эти пьяные слезы, этот осовелый скользкий взгляд, это бессмысленное мычание, это освобожденное бесстыжие!

Она бормочет что-то нечленораздельное, а я ее раком.

P.S. Все мы умрем, брат. Главное – умереть молодцом! Надо загребать жизнь обеими руками.

Слушай, чудо мое, странную сказку. Случилось все это тысячу лет назад, когда тебя и в помине не было.

Никому не рассказывал, носил в себе. Тебе, доченька, расскажу, слушай. Ты ведь у меня умница – ничего не поймешь.

Твой папа был тогда совсем другим, у него самого еще были живы мама и папа, а он был юношей. Юноша – это такое существо с жидкой бородкой, которое играет в крокет и кегли, руководит фантами и говорит дерзости девицам. А потом ночью корпит над *actio hypothecaria* и *pignoratitia*¹⁹. И вот одним утром, когда снег за окном спешил к трем вокзалам, он отправился на экзамен – всю ночь готовился, проспал и теперь очень торопился, прямо бежал по лестнице, а внизу чуть не упал, поскользнулся на заледенелых ступенях, это дворник носил воду и расплескал. И в дверях юноша столкнулся нос к носу с заснеженным почтальоном. Тот принес ему телеграмму. Телеграмму юноша открыл уже в трамвае. В ней его отец сообщал без точек и запятых, что мама юноши скоропостижно скончалась и что похороны будут тогда-то. «По возможности, – телеграфировал отец, – приезжай». Юноша доехал до университета и машинально, плохо соображая, что происходит, разделся в гардеробе и поднялся по лестнице до аудитории. Там его окликнули и сказали, что о нем уже спрашивали. Он вошел в экзаменационный зал, и на него набросился профессор романист Платонов, грузный и рыхлый – когда поднимался на кафедру, она трещала под ним. Юноша был его любимым студентом.

– Ну, где же вы пропадаете? Берите билет! Берите, берите, что вы тут перед нами как каменная баба из кургана!

Юноша взял с алой бархатной скатерти бумажку. Ему достался конек профессора – отличие *dominium* от *possessio*²⁰.

– Вот и чудесно! – обрадовался Платонов. – Я уже имел удовольствие с вами, молодой человек, дискутировать по этому вопросу. Отвечайте-ка без подготовки, *ex tempore*²¹!

За длинным экзаменационным столом сидели какие-то седобородые старцы, которых юноша должен был поразить своими способностями, Державины русского права, дышавшие на ладан.

Платонов заерзал на заскрипевшем под ним стуле, торжествующе поглядывая на коллег, мол, сейчас увидите, этот покажет!

Юноша хотел что-то сказать, объяснить, показать телеграмму, но вдруг почувствовал, что не может выдать из себя ни слова, будто кто-то сжал ему челюсти.

Платонов потирал руки, как бы предвкушая удовольствие, его большое тело еле помещалось за столом. Он подбадривал хрипловатым баском:

– Ну же, молодой человек, с высоты этих пирамид на вас смотрят тридцать веков! – и сам первый заразительно засмеялся своей шутке, пихая в бок то мумию справа, то слева.

Впервые этот обожаемый юношей умница показался ему ничемным дурашливым стариком, а его *dominium* с *possessio* каким-то бредом.

Платонов не унимался:

– Давайте, давайте, Александр Васильевич, глазомер, быстрота, натиск! Режь, коли, бей! Пуля дура, штык молодец!

Юноша все молчал.

Профессор забеспокоился:

¹⁹ Предоставление залога, поручительство путем предоставления залога (*лат.*).

²⁰ Доминиум, имущество (*лат.*).

²¹ Экспромтом (*лат.*).

– Ну же, что с вами, дорогой мой? Переволновались? Бывает. Начинайте, начинайте, мы ждем.

Юноша стал что-то бормотать.

Мумии переглядывались.

Платонов мял себе то мясистые уши, то рыхлый нос, ничего не понимая.

Когда юноша замолк, профессор долго кусал губы, покачивая головой. Потом сказал:

– Вы меня очень, очень разочаровали.

Из университета юноша поехал на трамвае по Мясницкой на Казанский вокзал.

Попутчиками в купе оказались сонливый полковник и мрачная когтистая дама, терзавшая всю дорогу толстую машинопись корректорскими каракулями. Полковник то и дело клевал носом, но, начиная храпеть, просыпался и принимался расспрашивать юношу о жизненных планах. Юноша забрался на верхнюю полку и сделал вид, что спит. Потом полковник обратился к соседке:

– Вы, мадам, не составите мне компанию пообедать? – и, не дождавшись ответа, исчез за дверью на целый день, а дама, к счастью, так и не проронила за всю дорогу ни слова. Только где-то за Пензой вдруг произнесла недовольно:

– Молодой человек, потрудитесь выйти, мне нужно переодеться.

В поезде ночью юноша, то есть, конечно, я, неважно, никак не мог заснуть. Проезжали какую-нибудь станцию, свет от фонарей врывается на несколько мгновений в купе, потом опять все окуналось в темноту. Полковник то храпел, то ворочался. Напротив с полки свесилась его рука. Когда за окном мелькали огни, по жирному обручальному кольцу пробегали искорки. Иногда поезд останавливался, тогда были слышны шаги рабочего под окнами вагона и стук молотка по железу.

Я думал о маме. Вспоминал, как в школе, после уроков, забегал в туалеты, чтобы соскоблить со стен, пока никто не видит, все эти убогие надписи о химичке, которыми изощрялись мои соученики. Вспомнил, как однажды, это было на каникулах, в Пятигорске, мы прогуливались вдвоем по бульвару и она хотела взять меня под руку, будто я ее кавалер, а мне было четырнадцать, и я отпрянул, наверно, стыдился ее.

Вспомнились все бесконечные детские страхи. Когда я заболел ветрянкой, раздался звонок. Я лежал в своей комнате и смотрел на сыпь, выступившую на стене – житья не было от комаров, и стены не успевали отмывать от их останков. Из флигеля было три выхода: один вел непосредственно в актовый школьный зал, другой во двор, третий на улицу. Кто-то позвонил с улицы.

Я не знал, кто пришел, слышал только голоса в прихожей, потом в гостиной. Отец был дома, значит, это случилось в субботу или воскресенье. Я прошмыгнул в туалет, а оттуда, никем не замеченный, в кухню. Покрытый язвочками организм требовал лакомств. Я стащил несколько ломтиков пастилы и пошел на цыпочках к себе, когда меня вдруг догнали слова, смысл которых дошел не сразу. Отец, отвечая на вопрос невидимого гостя, сказал:

– Нет, Саша не знает, кто его настоящая мать.

Я добрался до своей кровати, но проглотить пастилу уже не смог.

Скоро голоса переместились снова в прихожую, хлопнула входная дверь. Я хотел было броситься к окну, но моя комната выходила во внутренний садик.

Вошел отец, за ним мама. Она присела ко мне на кровать.

– Это еще что такое?

Она разжала мой кулак с растаявшей слипшейся пастилой.

Я хотел спросить, кто это приходил и что все это означает, но язык мой окостенел, и я не мог вымолвить ни слова. Меня охватил ужас при мысли, что они пришли сказать какую-то чудовищную, невозможную правду. Правду, которая перевернет весь мой мир, сломает и исковеркает мою жизнь.

Логические умозаключения, к которым детский мозг еще не был готов, царапали и рвали что-то внутри. Если эти люди, пришедшие сообщить нечто важное и теперь взволнованно трогавшие мне лоб, щупавшие губами мою горевшую кожу, встревоженно переглядываясь, откуда это у ребенка вдруг жар и озноб, – если эти люди не мои родители, то как же так? Кто тогда эта женщина, что роется в коробке с порошками и таблетками, и кто этот мужчина, что вызывает в соседней комнате по телефону врача? И кто тогда я? Почему лежу здесь с липким кулаком и не могу пошевелить ни рукой, ни ногой? Как я сюда попал? Куда мне теперь идти? И кто в таком случае моя настоящая мать? И не был ли это мой настоящий отец, кто сейчас приходил?

Врач дал выпить какого-то порошка, и я заснул. А когда проснулся и мама принесла мне, как обычно, стакан какао, счастливая, что ее Сашенька пришел в себя и что весь этот ужас уже позади, я вдруг почувствовал, что мне, моему миру объявлена безжалостная война, тот, невидимый, нанес первый удар, а я нечаянно, поневоле отбил этот натиск. Родители, пришедшие сказать мне что-то, испугались моего приступа и, возможно, решили разговор отложить.

Это, наверно, приходил посланник сарацин-невидимок.

Мама водила меня в театр Зимина, только что тогда построенный, на утренники. И вот там один раз, когда сестрицы Одноглазка, Двухглазка и Трехглазка улеглись дома в своих кроватках, стена покачнулась, что-то порвалось, и размалеванный задник с тяжелым вздохом рухнул на спину, подняв клубы пыли. Вдруг оказалось, что мы не в уютной хатке, а в каком-то огромном грязном пространстве с неряшливой кирпичной кладкой. Оттуда подул ветер. Стало жутко.

Так было и после тех невозможных слов, обрывка брошенной фразы, которая, может, вообще мне только почудилась, или я что-то неправильно понял, или вообще речь шла о ком-то другом. Я не мог тогда сформулировать словами это странное ощущение. Окружавшая меня жизнь, теплая, уютная, единственная, вдруг оказалась какой-то дурно сляпанной декорацией, в которой я ненароком прорвал дыру. Откуда-то из-за кулис пахнуло затхлой огромной темнотой, и у ребенка под мышками засквозил холодок. Мама, отец, все взрослые кругом оказались переодетыми актерами, участниками устроенного кем-то для меня утренника. Все вжились в свои роли, но время спектакля уже подходило к концу. Еще немного, и актеры выйдут кланяться: человек, играющий роль моего отца, снимет бороду, мать – парик. Чудесная сказка закончится. Начнется какая-то чудовищная, немыслимая реальность.

Ночами я просыпался в морозном поту от тошнотворных снов. Но открыться, рассказать маме или отцу о своих детских страхах было совершенно немыслимо. Детский ум понял только одно: нужно сделать все, чтобы продлить это представление в детском театре школьного флигеля как можно дольше.

Когда взрослые разговаривали друг с другом, я всячески напоминал им о своем присутствии – бибикал, фыркал, говорил голосами своих игрушек подчеркнуто громко, чтобы там, за столом или в креслах, не забылись, не проговорились. Если меня отсылали к себе в комнату, следил, чтобы дверь была плотно прикрыта, чтобы в щель не просочились слова, которые я так боялся услышать. А когда кто-нибудь, разговаривая, проходил мимо моей двери, я затыкал пальцами уши. Мне не нужна была никакая правда, мне нужно было что-то, что гораздо важнее. Любое слово могло оказаться пробоиной в днище моей лодки – через эту дыру готов был хлынуть тот самый ненавистный невидимый мир и потопить мое суденышко.

То, что скрывалось за разрисованным задником, было совершенно недоступно. Получалось, что самые близкие люди обманывали меня. Я терялся в догадках, кто еще вовлечен в этот невероятный заговор.

Достаточно было одного слова или взгляда, чтобы заставить подозревать в родственнике или друге дома двуличие. Стоило кому-нибудь, ухватив меня за щеки, заявить, что весь

я вылитый отец, а вот зеленые глаза от матери, или, наоборот, что от отца у меня только нос, а во всем остальном я маменькин сынок, – как трепавшие меня руки сразу делались холодными, чужими, невыносимыми.

Детские мысли крутились вокруг одного и того же – кто моя настоящая мама? Я придумывал, что она умерла, когда я был еще совсем маленьким. Утонула или попала под поезд. И вполне возможно, что у нее была сестра. И эта сестра взяла к себе крошку на воспитание. И вот теперь меня хочет забрать к себе настоящий отец. А ненастоящий так привык ко мне и так любит меня, что не хочет отдавать. И тогда настоящий отец захочет меня увести силой или выкрасть тайком. Я стал бояться гулять. На улицу, во двор меня могли вывести только силком.

Или, – придумывал я, и это заставляло страдать еще сильнее, – женщина, родившая меня, просто бросила своего ребенка. Родила где-нибудь в канаве около пристани. Я видел их там, неопрятных, размалеванных, хохочущих, злых. Меня подобрали, сдали в приют. Туда пришел бездетный школьный директор с женой, чтобы взять себе дочку или сына, и выбор их совершенно случайно остановился на мне. Могли бы выбрать кого-нибудь другого. Может быть, моя мама сказала:

– Васенька, давай возьмем вот этого. Посмотри, какой он страшненький и жалкий, ведь если мы его не возьмем, он никому больше такой не будет нужен!

Или мне приходило в голову, что родители просто купили меня у какой-нибудь бедной женщины. На улице я смотрел кому-то вслед и думал: а ведь это, может быть, ждет трамвая на остановке под зонтиком моя мать или вот закуривает папиросу на ветру мой отец, и спички у него то и дело гаснут.

После уроков я обычно гулял в школьном дворе. Один раз у меня защемило сердце: я увидел, как к чугунной ограде подошла женщина, простенькая, в темном пальто, в платке, и стала смотреть на меня. Рядом бегали еще другие дети, но я был уверен, что она смотрела именно на меня. Я сделал вид, будто ничего не заметил, но тут же попросился домой. Нянька моя решила, что я капризничаю. Я стукнул ее, она меня. Я визжал и царапался, меня скрутили, я лягался ногами. Все кругом сбежались, в окно что-то кричала мать. Та женщина ушла. Я успокоился.

Через несколько дней я опять увидел ту женщину у ограды. Она искала мои глаза. Я почувствовал себя онемелым, набитым, как чучело, замороженным. Какая-то сила заставила подойти к ней. Рот открылся, и язык хотел произнести:

– Вы что, моя мама?

Но ее уже не было.

Сиротский приют был в соседнем квартале, и раз в неделю их проводили по нашему переулку в кинематограф. Они были все какие-то пришибленные, одинаково одетые, коротко стриженные. Шли парами, их подгоняли окриками. Нянька вздыхала:

– Несчастные!..

Я только сильнее хватал ее за руку.

Страх перед невидимым поселился во мне, как проглоченный паук. Прижился где-то внутри, присосался к стенкам желудка. Месяц проходил за месяцем, год за годом, временами все забывалось, но иногда паук снова начинал перебирать лапками, вызывая ужас до тошноты.

Поймаешь на себе через открытую дверь взгляд гимназического швейцара, попивающего чаек в своей каморке, – и холодок по коже – неужели и он знает?

Теперь все эти переживания показались мне смешными. Какая разница – настоящая, ненастоящая. Ее больше нет.

Проснулся я поздно, вернее, меня разбудил полковник, уже в форме, выбритый, пахнувший терпким лосьоном.

– Вставайте, юноша, жизнь проспите!

Промелькнули Малые Каменки, за ними Большие.

Отца в квартире не было – он давал урок. Даже в такую минуту он считал своим долгом рисовать на доске стрелы Зенона и объяснять, почему Ахиллес никогда не догонит черепаху.

Мама лежала в гостиной на столе. Меня почему-то поразил платок на голове – я никогда не видел ее в платке. Кожа была восковой, прозрачной, а губы почернели. Я хотел дотронуться до ее лица, поцеловать, но что-то удержало.

В комнате непривычно пахло, чем-то чужим. Я походил по пустой квартире и пошел на кухню, делать себе чай. Было странно, что все стоит на своих местах, все эти чашки, кастрюли, кофейник, сахарница, а человек, который позавчера еще брал из нее сахар, лежит за стеной на столе, и на пальцах застыл воск со свечи.

Пришел отец. Захотелось броситься к нему на шею, обнять, зареветь, но я чего-то испугался, и наоборот, шарахнулся от него. Юноша больше всего боялся заплакать. Все юноши дураки.

Я спросил:

– Как это случилось?

Отец сказал, что у мамы и раньше было плохо с сердцем. А тут ее вдруг стало тошнить – прямо за столом. Потом стошнило в спальне, в ванной. Потом она стала жаловаться на сердце. Отнялся язык. Вызвали врача, но уже было поздно.

Я еще зачем-то спросил:

– Она очень страдала?

Отец кивнул:

– Да.

Мы сели ужинать. Все было непривычно – чай всегда разливала она, на зеркале за спиной отца что-то висело, штору никто не задернул. Давно и быстро стемнело, в окне отражались мы вдвоем, молчаливо жующие.

Отец что-то иногда спрашивал про учебу, про экзамены. Я пожимал плечами. Поймал себя на том, что, как в детстве, заплетал из бахромы скатерти косички.

Укладываясь, открыл шкаф, чтобы взять белье, и вспомнил, как один раз мама, отчаявшись справиться со мной без отца, заперла меня вот в этот шкаф, он казался тогда огромным. Я не привык к такому обхождению и – жестокая детская месть – сорвал все висевшие там платья и истоптал их ногами.

У кладбища нас встретили ребячьи крики – перед домиком смотрителя дети лепили снежную бабу. Через голые ветки деревьев и ограды было видно, как они приставили к ней лопату.

Заснеженные мраморные часовенки, кресты. Даже тут отгородились все друг от друга – хоть сажень, да моя.

Было странно, что все в шубах и шапках, а мама в одном платье.

Похороны были чудовищными – с венками от попечителя, от родительского комитета, от педагогического совета. Читали по бумажке какие-то речи. Играл гимназический оркестр. В перерывах музыканты-старшеклассники переговаривались, продували мундштуки своих труб. Было не так холодно, чуть ниже нуля, но на ветру все окоченели, стучали каблуками, хлопали себя по бокам, терли уши. Отец не сказал ни слова. Стоял, обнажив голову. Ему говорили:

– Наденьте шапку, простудитесь! Ей все это не нужно. Наденьте, вам говорят!

Но отец никого не слушал. Все остальные стояли в шапках, и я тоже.

На снегу кругом могилы был разбросан мерзлый песок. Я заглянул в яму. Там из стенок торчали концы обрубленных корней.

Когда стали подходить прощаться, отец, наклонившись над гробом, долго смотрел на ее лицо, убрал ей прядь у виска под платок, что-то прошептал, слышное только им двоим.

Я прикоснулся губами к маминому лбу. Мне показалось, что я дотронулся до холодной железной трубы.

Споро и ловко заколотили крышку, и гроб, подергиваясь, пошел вниз. У рабочих, опускавших веревки, руки вытягивались, становились длиннее. Стали бросать в могилу землю, чтобы была пухом, я тоже бросил горсть снега вперемешку с песком.

Набросали холмик, обровняли лопатами.

Воткнули дощечку, на которой черной краской было написано, кто здесь. Было странно, что человек превратился в буквы.

Когда выходили из ворот кладбища, детей уже не было, наверно, их позвали обедать. Снежная баба стояла в одиночестве посреди оград и крестов, устало опершись о лопату, будто взирая рябиновыми глазами на плоды своего труда.

На поминках ели мало и говорили вполголоса, о чем-то постороннем. О покойной никто за столом ничего и не сказал. Отец сидел, сгорбившись, и смотрел на рюмку водки, которую он так и не выпил.

На кухне помогала Ксения, бывшая мамина ученица, вышедшая в прошлом году, – мама преподавала еще в Калитниковской женской гимназии. Ксения была совсем ребенком, классе в четвертом или пятом, когда я уехал в Москву, но и тогда она обращала на себя внимание охапкой своих волос, вьющихся, крепких, смоляных, может, у нее кто-то в роду был из цыган. Я не мог сидеть за столом и, чтобы куда-то уйти, пошел к ней. Ксения мыла тарелки для горячего, а я вытирал. Я вдруг почувствовал себя рядом с ней большим, столичным и о чем-то говорил снисходительно, как с маленькой девочкой, глядя на ее выросшую грудь и взрослые губы.

Плита была горячая, и я как-то умудрился обжечься. Ксения схватила яйцо, кокнула его в миске и стала смазывать мне палец белком. Она держала мою руку, водила по моей коже, дула на обожженное место, подставив мне затылок, и я еле удержался, чтобы не поцеловать ее в шею.

Было жарко, душно, накурено, мы с Ксенией вышли на крыльцо. Я набросил ей на плечи мою тужурку. Уже начинались декабрьские сумерки. Мы пошли в соседний двор, где была беседка, пустая, зимняя, обвитая замерзшим сухим хмелем. В домах зажигались окна. Мы залезли на скамейку и уселись, смахнув снег, на перила.

– Все это ужасно, – вздохнула Ксения, – бедный...

Меня эта жалость, о которой я не просил, отчего-то задела, но оказалось, что она жалела вовсе не меня.

– Как ему теперь тяжело, – еще раз вздохнула Ксения. – И Галину Петровну жалко. Она ведь была добрая. На нас кричать надо, а она не умела.

Сидеть было холодно, темнело быстро, и мы пошли домой. У дверей я заглянул в почтовый ящик. Там лежали с утра письма и телеграммы с черной полоской отцу, а одно письмо было маме. Я показал его Ксене:

– Смотри, там, в этом конверте, она еще живет. Забавно, правда?

Ксения не улыбнулась.

В прихожей было тесно от пальто и шуб. Проходя мимо, Ксения чуть задела меня грудью, и ее волосы скользнули по моему лицу, они еще пахли улицей и морозом.

Все уже вставали из-за стола, чтобы расходиться.

Отец попросил меня остаться, но я уехал в тот же день.

Через пару месяцев я получил из дома короткое письмо. Твердым отцовским бисером сообщалось, что они с Ксенией поженились.

Я сухо, несколькими пустыми фразами на открытке поздравил их.

На отца я не обиделся, его я еще как-то мог понять, ему трудно было остаться одному. Но Ксене я простить не мог. Мне казалось, она просто воспользовалась положением. Использовала тяжелое состояние отца после случившегося. И потом, почему они не могли подождать хотя бы еще немного. Все это было оскорбительно для мамы. И главное, я не понимал, почему отец, всегда такой щепетильный в этих вопросах, вдруг так просто обидел и память человека, с которым он прожил всю жизнь, и меня. Во всяком случае, я написал им, что желаю счастья. Я сказал себе, что все это не мое дело.

Летом я, как обычно, приехал домой на каникулы. Сначала вовсе не хотел приезжать, но потом решил, что обижу этим отца и будет намного лучше, если я приеду просто на недельку и буду вести себя вежливо, приветливо, непринужденно, как ни в чем не бывало, а потом уеду, чтобы никогда их больше не видеть и лишь посылать им регулярно рождественские открытки.

Открыла мне Ксения. Она была беременная, и до родов оставался месяц, может, два.

– Проходи, что ж ты встал! – усмехнулась она. – Разве отец тебе не написал?

Квартиру я узнал с трудом, был сделан ремонт, полы сверкали, свежие обои золотились, выбеленные потолки поднялись. Хотя мебель осталась все та же, с казенными инвентарными бляхами в укромных местах. Запахи здесь жили теперь совсем другие. Раньше, приезжая домой, я будто возвращался в свое детство, теперь я приехал в чью-то чужую жизнь.

Было странно видеть везде на привычных местах незнакомые вещи – какие-то флакончики, тюбики, коробочки, везде появились горшочки с цветочками – у мамы бы они давно все передохли. Везде был новый, неприятный, чужой уют.

И отец стал каким-то другим. Будто помолодел, от чего-то освободился. Без конца шутил, смеялся, обнимал Ксению, прижимал к себе, целовал ее в густые волосы, совершенно не стесняясь меня, словно, наоборот, хотел мне сказать: вот, смотри, это моя жизнь, и мне ни в чем и ни перед кем не стыдно.

Я не решался задавать какие-либо вопросы, но отец сам все время заводил разговор об их будущем ребенке, что, мол, хорошо бы это была девочка и тогда бы они назвали ее Аспазией или Фриной, и вообще, словно хотел сменить роль строгого и мудрого, которую он привык играть со мной, – я уже учился в университете, а он все еще, как когда-то, возвращал мне мои письма, подчеркивая красным ошибки или неловкие обороты, – на роль старшего товарища по жизненной прогулке, полной забавных проказ и приключений.

Это молодечество быстро стареющего и, я знал это, больного человека – у него был испорченный желудок, и ему приходилось принимать пилюли и магнезию во время каждой трапезы, – человека, только что похоронившего жену, было и жалко, и уродливо, и смешно. Мне было болезненно неприятно смотреть, как отец старается выглядеть перед Ксенией остроумным, изящным, неотразимым, как кладет свою руку, обтянутую сухой, сморщенной кожей, обрызганной рыжими пятнами старения, на ее коленку, как подмигивает мне украдкой, мол, смотри, юноша, какую шамаханскую царицу умыкнул казак, смотри, учись и завидуй.

Какие-то нечаянные слова резали слух. Например, Ксения искала что-то, и отец крикнул ей из кабинета:

– Посмотри у нас!

Так он говорил маме.

Перед сном мы опять столкнулись с Ксенией в коридоре – она вышла из ванной комнаты, запахнувшись в халатик. На ногах были открытые шлепанцы, торчали пальцы, на ногтях красный лак, мерцавший в тусклом свете лампочки.

Я сказал:

– Беременность тебе очень идет. Ты еще больше похорошела.

Она вдруг прошептала:

– Я тебя очень прошу: постарайся хоть ты быть человеком с ним. Он тебя так ждал. Ему нужна твоя поддержка. Хоть ты не унижай его.

Я не понял:

– О чем ты?

– Все ты понимаешь, – сказала Ксения и ушла к ним в спальню.

На следующий день отцу пришла повестка явиться в городскую следственную часть. Он долго вертел ее в руках, недоумевая, что бы это значило.

Через день к назначенному часу отец отправился к следователю. Вернулся он совершенно разъяренный. Я никогда не видел его в таком бешенстве. Он метался по всей квартире, хлопая дверьми и расшвыривая стулья.

– Мерзавцы! Скоты! Подонки!

Он ругался словами, которых я прежде никогда от него не слышал.

Я хотел выяснить, в чем дело, но ничего от него не добился.

Ксения даже не пыталась его успокаивать, лишь испуганно выглядывала из кухни.

Отец заперся у себя и не появлялся до самого обеда. А к столу вышел, будто ничего не произошло, спокойный, подтянутый, с усмешкой на губах.

Я боялся его расспрашивать, ел молча. Ксения тоже смотрела только в свою тарелку.

Помню, что за окном, выходящим на улицу, поливали из шланга мостовую, иногда были видны брызги, сверкавшие на солнце, и вдруг на несколько мгновений над подоконником выросла совершенно неуместная радуга.

Отец пообедал, не проронив ни слова, потом промокнул салфеткой губы, откинулся на спинку стула, обвел комнату рассеянным взглядом и сказал, как бы между прочим:

– Должен сообщить вам, Ксения и Александр, следующее. Кто-то написал уже несколько писем, в которых утверждает, что будто бы я убил, то есть отравил, Александр, твою мать. Следователь, конечно, извинялся, уверял меня, что это обыкновенный донос, такое пишут больные люди без остановки, сотнями, но уже поползли слухи, и они вынуждены назначить следствие.

Мы сидели несколько минут молча.

Наконец я спросил:

– И что это значит?

– Это значит, что будет проведена эксгумация. Они хотят выкопать тело и сделать анализы. А я должен там присутствовать на опознании. Сказали, что такой порядок. Порядок такой.

Отец побагровел и со всей силой ударил кулаком по тарелке – та подпрыгнула и разбилась вдребезги на паркете.

– У них такой порядок, вам понятно или нет?! Порядок такой!

Ксения сидела с закрытыми глазами, схватившись руками за горло.

Отец хватал тарелки, чашки со стола и швырял их на пол. В оконное стекло полетел чайник. Звон осколков резал уши.

Я бросился к отцу, попытался схватить его за руки, но он отшвырнул меня с какой-то незнакомой мне силой и ненавистью.

О разбитый стакан отец порезал себе руку – кровь хлестала во все стороны. Он ревел одно и то же:

– У них такой порядок! Порядок такой!

Потом резко, неожиданно успокоился. Пошел в ванную, там долго отмывался. Вышел с перевязанной платком ладонью. Буркнул не глядя:

– Извините!

И отправился к дверям.

Ксения крикнула:

– Васенька, ты куда?

– Пойду пройдусь перед сном, подышу воздухом.

Он бродил по нашему саду до темноты. Через открытое окно я иногда слышал его сдавленные, с хрипом, вздохи.

Мы с Ксеньей до ночи убирали в гостиной, отмывали пятна чая и крови на полу, стенах, даже на потолке.

Эксгумация должна была производиться через неделю, то есть уже после моего отъезда, но я сказал отцу, что останусь, пока вся эта бредовая история, пока все это чудовищное недоразумение не выяснится. Я думал, он пожмет мне руку, поцелует или каким-то другим способом выразит свою благодарность, но он даже будто не услышал меня. Все эти дни он почти не выходил из своего кабинета, ни с кем не разговаривал, не писал писем, не читал газет, впрочем, и дел особых в это время у него не было – в летней прохладной гимназии было пусто, только по углам коридоров собирались рыхлые холмики тополиного пуха, налетавшего в открытые фрамуги. Отец осунулся, сгорбился, стал рассеянным, забывал приче-саться, одевался неряшливо. Я несколько раз звал его пройти куда-нибудь в парк, на Волгу или в летний театр, но он отказывался – наверно, боялся встреч, ведь его знал почти весь город. Да и со мной знакомые здоровались как-то странно, я это сразу почувствовал.

В пятницу мимо наших окон провели девочек из Сиротского приюта. Они шли парами, с бритыми, как у рекрутов, белобрысыми затылками.

Однажды ночью я проснулся – из спальни доносились какие-то приглушенные звуки. Ксения плакала, ревела навзрыд, а отец ее успокаивал. Потом он прошел на кухню, шаркая босыми ногами, и было слышно, как наливает воду в стакан.

Я каждый день уходил куда-нибудь подальше от дома и часами смотрел, как мальчишки поджигают пух вдоль железнодорожной насыпи. Однажды один из них подошел к телеграфному столбу и прижался к нему ухом, другие подбежали и облепили со всех сторон сизое от непогоды бревно – слушали что-то. Потом, когда кругом никого не было, я тоже приложил ухо к телеграфному столбу. Горячее, нагревшееся на солнце дерево чуть гудело.

В назначенный день отец, уже одетый, в начищенных ботинках, гладко причесанный, благоухающий одеколоном, с зонтиком в руках – из-за Волги нагнало тучи, – сел в прихожей у дверей на стул и замотал головой:

– Я не могу! Не могу!

К нему подошла Ксения, взяла его за голову, прижала к своему животу, стала гладить седые виски. Я заметил, что отец надел рубашку с разными запонками – наверно, впервые в жизни.

Неожиданно для самого себя я выпалил:

– Оставайся! Я пойду.

Он даже не поднял головы, все бормотал:

– Не могу, не могу!

На улице было жарко, душно, дождь собирался уже несколько дней. Гроза набухала в пыльных тяжелых кронах. Я шел как в дурмане, ничего не узнавая, будто в первый раз в жизни шагал по этой с детства знакомой мостовой, будто никогда раньше не видел этой старой каланчи с березкой в затылке, этой афишной тумбы, этого больничного забора, этих львов над воротами, стерегущих хвори. Мимо шли люди, поглядывая на небо, обмахиваясь платками. Прогромыхал трамвай в клубах пыли и тополиного пуха.

Меня охватило какое-то странное чувство от обыденности этого июньского дня, обложного тучами, и невозможности того, что сейчас должно произойти. В желудке я ощутил неприятную пустоту. На Ильинке, увидев памятник Гончарову, вдруг вспомнил, как когда-то, сто лет назад, еще до школы, нарвав здесь в скверике одуванчиков, я принес их маме, и она все время их нюхала и целовала меня, и потом, дома, поставила их в банку с водой, в

которой они на следующий день завяли, а в тот вечер отец и я, мы смеялись за столом, что у нее под носом все желтое, но она смотрела на себя в зеркало, тоже хохотала и говорила, что не будет теперь никогда больше умыться.

У входа на кладбище уже ждали, там было несколько человек из следственного управления, понятые и двое рабочих с лопатами. Я сказал, что отец не придет, но мы можем начинать, я подпишу за него все необходимые бумаги.

– Василий Львович плохо себя чувствует, – объяснил я.

Следователь, похожий скорее на Тургенева в старости, чем на Шерлока Холмса, кивнул головой:

– Хорошо, хорошо. Я все понимаю.

Раскрыв свою папку, он записал что-то, потом вздохнул и обратился ко всем:

– Что ж, пойдете!

Кладбище тоже все было белым от тополиного пуха. Я не был здесь еще с зимы. Несколько раз за эти дни во время моих долгих бесцельных шатаний по пригородам я собирался прийти на мамину могилу, но что-то удерживало меня, цепляло за рукава, вязло в ногах.

Я брел последним. Кладбище было пустынным, какая-то сухая старуха в черном, наливавшая у фонтанчика воду в лейку, смотрела с удивлением на нашу процессию.

Я помнил примерно, в какой стороне похоронили маму, но сейчас, летом, все выглядело совсем по-другому, и я вряд ли бы сам быстро нашел это место. Загородку убрали уже накануне. Небольшой памятник из черного камня с крестом и золотой надписью рабочие подняли необыкновенно легко и поставили на песок прямо передо мной. Имя и годы жизни – ничего больше отец не велел писать.

Цветы аккуратно выкопали с землей и положили рядом у соседней могилы. Потом лопаты стали вонзаться в желтый сухой песок. Все кругом стояли и молча смотрели. Иногда дул ветер и в яму залетал пух. Кто-то сказал:

– Надо бы управиться до дождя.

Рабочие быстро вспотели и стали раздеваться, сбросили рубашки, их мокрые спины сверкали.

Вдруг раздался сухой крепкий стук – добрались до гроба, намного быстрее, чем я ожидал.

Кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулся. За мной стоял следователь. Он сказал негромко, так, чтобы не слышали другие:

– Как вы себя чувствуете? Вам не дурно? У меня с собой нашатырь. Я всегда беру. Мне-то уже привычно, а вот приглашенным, знаете... Понюхайте.

Я замотал головой.

– Нет-нет, спасибо, все хорошо. Ничего не нужно.

Лопаты застучали по крышке.

Потом рабочие вылезли и, зацепив какими-то крюками гроб, стали вытаскивать. Веревка выскальзывала, песок под ногами осыпался в яму. Стоявшие кругом принялись помогать. Я в каком-то секундном помешательстве тоже чуть было не ухватился за конец веревки, но, опомнившись, отпрянул.

Гроб вытащили и поставили на кучу песка, неровно, кособоко. Я, помню, почему-то подумал, что это нехорошо, нужно поправить. Обивочная материя и ленты все были в песке и чуть потеряли свой цвет. На крышке были следы от ударов лопат.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.